

опустошитель

[иверсния курутьлы]

#48

реальность



Журнал «Опустошитель»
#48. Реальность
Москва, апрель 2026
210 страниц

Главный редактор Вадим Климов

Это и есть сознание человека, готового отказаться от любого своего фрагмента, но лишь до тех пор, пока их можно идентифицировать и они имеют названия. Сердцевина человека — не набор наиболее ценимых им качеств, а то, что он не осознает, лишь смутно подозревает об его существовании, не в силах сказать что-то более-менее внятное. Этот странный напиток, который никто не пробовал, включая самого человека, и есть главная его часть, без которой он невозможен. Как невозможна реальность без таких авторов, как Эмиль Мишель Чоран, Луи Арагон, Вадим Климов, Раймон Руссель, Шарль Моррас, Николай Старообрядцев, Мишель Лейрис и тому подобные. Снова апрель, а значит, и снова Опустошитель. #48! Реальность...

В оформлении обложки использовано фото Nicolas Bruno.

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2026
<http://pustoshit.ru>

**ж
у
р
н
а
л**

**О П У
С Т О
Ш И Т
Е Л Ь**

#48. Реальность

Луи Арагон
Вадим Климов
Мишель Лейрис
Шарль Моррас
Раймон Руссель
Николай Старообрядцев
Нелли Цымбаленко
Эмиль Мишель Чоран

**Москва
Апрель 2026**

РЕАЛЬНОСТЬ И СЕРДЦЕВИНА ЧЕЛОВЕКА



Чем больше людей вовлекается в то или иное явление, тем более грубыми представлениями о нем они довольствуются.

P.S.

Все знакомы с рассуждением о человеке и том, что от него остается. Если вам отрезать руку, вы скажете: это я, а это моя рука. То же самое можно проделать с любым выступающим членом или внутренним органом. Но когда наступает момент, когда вы уже не сможете отыскать в остатке себя?

Обычно люди помещают себя в голову, считая, что в мозге обитает их сознание, с которым себя и ассоциируют. Но ту же операцию отсечения можно распространить на сознание. Например, есть целый класс

людей, испытывающих нечто вроде гордости из-за того, что им недоступны рациональные рассуждения. Здесь можно не глядя рубить все левое полушарие: вот я, а вот моя рациональность.

Но в какой-то момент мы дойдем до сердцевины человека, которую он не даст так просто разделить на части. Точнее, это будет то, что индивид считает своими главными чертами. Однако следует помнить, что человек почти всегда ошибается, особенно на свой счет.

Самые глубокие мудрости, как известно, укладываются в дюжину слов и содержат исчерпывающую информацию, как жить и думать, не ошибаясь. Есть в этом лапидарном знании полезное даже для женщин, обделенных красотой.

Недавно мне попался на глаза афоризм, который уподобил даму бокалу вина: бокал, мол, приятен глазу, но ему предпочитают само вино. О напитке сложно что-то сказать, пока вы его не попробуете. И это скрывает огромное пространство для маневра.

Не только гурманам со стороны неведомы качества вина, которое они еще не пили, — самому вину они тоже неизвестны. Вино вообще не способно разобрать свой вкус, оно не видит даже своего цвета.

Это и есть сознание человека, готового отказаться от любого своего фрагмента, но лишь до тех пор, пока их можно идентифицировать и они имеют названия. Сердцевина человека — не набор наиболее ценимых им качеств, а то, что он не осознает, лишь смутно подзревает об его существовании, не в силах сказать что-то более-менее внятное.

Этот странный напиток, который никто не пробовал, включая самого человека, и есть главная его часть, без которой он невозможен. Как невозможна реальность без таких авторов, как Эмиль Мишель Чоран, Луи Арагон, Вадим Климов, Раймон Руссель, Шарль Моррас, Николай Старообрядцев, Мишель Лейрис и тому подобные. Снова апрель, а значит, и снова Опустошитель. #48! Реальность...

п р о з а

Нелли Цымбаленко **СМЕХ НИНЫ**

I

Нина смотрит на свое отражение в матовых стеклах метро, смотрит на свою немытую голову. Многогранность седого цвета цепляет взгляд. Фактура загрязнившихся волос так изумительна.

У Нины трясется голова. У старух такое встречается.

Нина вдруг начинает смеяться жутковатым смешком, лишенным звука. У нее голова прыгает как мячик. Нина скалится беззубым ртом: она вдруг представляет себе анекдот, представляет, что говорит с кем-то — и ее это забавляет. Она воображает, что поддакивает кому-то. Если бы смерть, думает Нина, вдруг стала ее жестокой требовательной собеседницей, тогда на любые предложения о продлении своей жизни она бы стала трясти головой, сообщая: “да-да-да”.

И снова хохочет.

— Будешь немощной.

— Да-да-да-да...

— Седая, одинокая, уродливая.

— Да-да-да-да...

Нина теряет свои волосы прямо в метро, кожа покрывается старческим налетом. У нее проплешины. А платья, в которых она некогда щеголяла, рвутся, теряют пуговицы, и те убегают, катятся в разные стороны. Нина пришивает другие: других цветов, форм, нитки не соответствуют цвету ее платьев. Она похожа на заштопанную лоскутную куклу. Пара восхищенных

мальчишек подбирает пряди ее волос, они заботливо укладывают их в свою коробочку сокровищ: там есть хвост ящерицы и крылышко майского жучка.

— Дряхлая, вонючая.

— Да-да-да...

— Что, думает Нина, — если еще одна пуговица оторвется сейчас, на глазах у всех, и покатится к ногам ее собеседницы?

И Нина, страстно хохоча, стоит на коленях, двигая руками так, словно она ищет что-то, что-то маленькое, что возможно отыскать не глазами, а только почувствовать телом. Нина оставляет на плитке в метро следы от своих прикосновений: незаметный слой пыли, слегка поблескивающий в переливах света. Какая-то блестящая пыльца волшебным образом разлетается от Нины. Такой пылью мы были очарованы в детстве, прикалывая свежих бабочек в свою живописную коллекцию прекрасного.

II

Нина живет в крохотной комнатке, подъем в которую совершается по винтовой лестнице с черного входа. Лихая крутая лестница напоминает Нине другое головокружение, не очевидное, что посетило бы здесь и даже не настолько слабого от старости человека, а головокружение сладкое, из нежного прошлого. Головокружение совместное.

Чудесные воспоминания — вот они, дурные миазмы памяти.

Комната Нины, поросшая вылезшими волосами, клочьями платьев, нитками, оторванными пуговицами, похожа на змеиный выползок. Бледный, пустой, не впечатляющий, не внушающий ужаса дурманом своей власти, не пугающий потенциалом своих ядов. Но Нина грезит о новом времени.

В этом грязном беспорядке Нины кишат насекомые, которым и свойственно появляться в местах лютого разложения. Гудеть и визжать в своей экзальта-

ции. Чужое разложение — основа их жизни, буйство праздника, широкий пир! И эти насекомые не способны быть выразительными, они не могут позволить себе красоты. Они слишком похожи на падаль, которая их питает, и прорваться на иную высоту для них невозможно...

Среди некоторых из них находились те, кто своими цепкими лапками сладко цеплялся за корешки Нининых книг, своим жужжанием словно выражая некое одобрение или неудовольствие, по мере продвижения вдоль библиотечного ряда, довольно размашистого, кстати.

Внизу, не смея позволить себе и полета мелкого насекомого, копошилось что-то нелетучее, похожее на маленьких крабиков, которых Нина ехидно нарекала крошками-цахес, что старались ползать на своих уродливых ножках, едва-едва ими передвигая. Зачерпнув рукой в этот ворох, Нина бы без труда смогла вытащить себе пару подруг. Они бы ничем не отличились от настоящих женщин.

Нина созерцает сброшенную жизнь, постепенно сворачиваясь в этот кокон, сладострастно доверяясь новому циклу. Слепо и радостно отдаваясь инстинкту.

— Немошная, дряхлая.

— Да-да-да, — похихикивает Нина, вспоминая утренний пассаж в метро.

Нину обволакивает новая оболочка, собираясь из всего накопившегося хлама, она продолжает хохотать, немощно тряся головой.

— Да-да-да...

III

— Anna est mirabilis, — читала когда-то Нина, — вид бабочки, которая проходит двойной цикл. Проживающая свой первый цикл бабочка сворачивается в куколку еще раз. Такая бабочка, на момент метаморфоза, выглядит истощенной, с оборванными крыльшками, со стершейся с них пылью... Такая бабочка

упала на самое дно, такая бабочка соглашается на черт знает что...

— Соглашаешься на черт знает что...

— Да-да-да...

Такая бабочка водится черт знает с кем! С дурными насекомыми! Она позволяет им кишеть у своих ног, у своих книг. Но такая бабочка скрытый феномен, уникальный случай, Нина хохочет, и ее смешок уже похож на предсмертные хрипы придавленного подушкой лица. Это означает, это неудачное жестокое сравнение означает, что смешок становится все приглушенней, что Нина зарождается в своей следующей жизни, что ее новый кокон затягивается все туже, Нина уже вся в него погрузилась. Потрясающе! *Anna est mirabilis.*

Николай Старообрядцев
ПАЛЕЦ

Доктор Золотарёв, отдыхая после сложной операции, сидел за столом в ординаторской и ел чёрный хлеб с солью.

— Арсений Яковлевич! — бросил ему вошедший в кабинет коллега, доктор Железобетонин, хорошо выкормленный увалень, крупный и энергичный. — Вы бы хоть чаю себе налили, а то что это за дело, в сухоматку-то?

— Да, вы правы, Илюша, — согласился Золотарёв и повернулся, чтобы нажать на кнопку электрического чайника. От его движения стол резко накренился, и лежавшая близко от края шариковая ручка, покотившись, упала на пол.

— Надо под ножку что-то подложить, — проворчал Золотарёв, поднимая ручку. — Давно уже говорю.

Он поискал глазами вокруг, но не заметил ничего бесполезного, что могло бы для этой надобности.

— Все говорят, — усмехнулся Железобетонин и добавил, кивая куда-то на потолок: — Но пока сверху революция не придёт, никто не пошевелится.

Золотарёв никак не отреагировал, будто даже и не слышал. Он поднялся со своего места, достал из тумбочки кружку и пошёл к раковине, чтобы ополоснуть её.

— Арсений Яковлевич! — снова пристал говорливый коллега. — А правда, что вы однажды пациенту глаза поменяли местами: правый вместо левого, а левый вместо правого?

— Это я сам себе поменял, — лениво усмехнулся Золотарёв. — Без наркоза, разумеется.

— Это зачем же? — без особого удивления поинтересовался Железобетонин.

— Чтобы хватку не потерять, — спокойно ответил доктор. — Я ведь тогда работал на полярной станции. Практики почти не было. Скука смертная! Вот я и развлекался как мог. Придумывал разные операции, посложнее, и сам себе делал. Это, Илюша, очень дисциплинирует.

Железобетонин призадумался.

— Да, — мечтательно произнёс он. — Человек должен постоянно бросать вызов своей природе.

Дверь в ординаторскую распахнулась и к докторам вбежала молоденькая и чуть полноватая девушка, дежурившая в регистратуре, — Лиза Зверолобова.

— Арсений Яковлевич! Илья Матвеевич! — встревоженно заговорила она. — Пойдёмте скорее. Там чёрт знает что такое, ей богу!

Золотарёв и Железобетонин переглянулись и отправились вслед за Лизой.

В приёмной действительно было несколько более суетливо, чем обычно. В центре помещения стояла ванна, покрытая клетчатой пластиковой скатертью. Чтобы скатерть не слетела, её крест-накрест примотали верёвками, а края дополнительно подклеили канцелярским скотчем. Рядом столпились четверо грузчиков в рабочей одежде. Они о чём-то спорили с невысокой женщиной среднего возраста, одетой в длинный серый плащ и державшей на руках пушистого рыжего шпица. Её исхудалое лицо выглядело как кусок истёртого линолеума, натянутый на стальной механизм, грубо имитирующий мимику живого человека.

— Доктор! — женщина машинально устремилась на Золотарёва, лишь только увидела его. В её монотонном голосе скрипела застарелая боль, высохшая до полного внутреннего оцепенения: — Ради бога, помогите! Моему мужу нужна срочная помощь!

— Что такое? — ничего ещё не поняв, начал разбираться тот. — Где ваш муж?

— Здесь! — женщина указала на ванну.

— Что с ним? — спросил Железобетонин. — Он утонул?

— У него острейшая аллергия на российскую действительность, — пояснила женщина, вдруг сильно всхлипнув и прижав к лицу носовой платок.

Железобетонин подошёл к ванной и приподнял край скатерти. Собравшихся обдало очень резким и едким, прогоркло-сладковатым запахом гниения. Зверолобова сморщилась, зажала рот рукой и отступила в сторону. Грузчики брезгливо поморщились. Один из них кратко прошипел, сдерживая в себе бранное слово. Шпиц принялся звонко лаять и рваться с рук женщины. Та принялась успокаивать собаку.

— Сварился в собственном соку, — констатировал Железобетонин, возвращая скатерть на место.

— Илюша! Не шутите так в присутствии посторонних. Я же вас неоднократно об этом просил, — осадил его Золотарёв.

— Доктор! — прокричала женщина, нервно всхлипывая и тут же поглаживая обеспокоенную собаку. — Вы сможете его спасти?

— Мы сделаем всё, что в наших силах, — заверил её Золотарёв. Осмотрев ванну, он велел Зверолобовой вызвать санитаров и обратился к грузчикам:

— Товарищи! Вы можете быть свободны. Дальше мы сами управимся.

Работники тут же ретировались. В приёмное отделение явилась группа из трёх санитаров, которую возглавлял крепкий красивый старик с густыми седыми бакенбардами, постриженными на старинный манер.

— Тихон Ерофеевич! — ласково обратился к нему Золотарёв. — Вот эту ванну нужно отнести вниз, намотать на слив марлю и всё содержимое процедить. Посмотрим, осталось ли что-нибудь.

— Сделаем, Арсений Яковлевич, — с решительной строгостью ответил старик, присматриваясь с какого края начать. — Организуем всё в лучшем виде.

Когда санитары унесли ванну, Золотарёв обратился к женщине:

— Кем вы приходитеесь пациенту?

— Жена, — ответила та.

— Хорошо. Тогда пойдёмте с нами, заполним документы.

Решив, что так всем будет удобнее, Золотарёв и Железобетонин отвели женщину в ординаторскую.

— Итак, — начал опрос Золотарёв, усадив женщину за стол. — Имя пациента?

— Хмыревич, — ответила женщина. — Борислав Хмыревич.

— Отчество?

— Наумович. Борислав Наумович.

Когда Золотарёв начал записывать, стол сильно пошатнулся, отчего ручка соскользнула, оставив на бланке кривой синий росчерк.

— Илья Матвеевич! — рассердился доктор. — Помогите нам, пожалуйста. Невозможно работать в таких условиях.

Железобетонин подсел с другой стороны и крепко навалился локтями на стол, чтобы тот не шатался.

— Держу! — заверил он своего старшего коллегу.

— Извините, я не поинтересовался вашим именем, — убедившись, что стол держится ровно, Золотарёв возобновил опрос.

— Варвара, — сообщила женщина. — Хмыревич. Варвара Бенедиктовна.

— Итак, Варвара Бенедиктовна, — продолжил Золотарёв, — вы сказали, что у вашего мужа аллергия. Кто поставил диагноз?

— Он сам.

— Он врач?

— Нет, он художник, — запросто ответила женщина, утирая платком мордочку собаки, которая сидела у неё на коленях.

— Живопись? Графика? — включился в опрос Железобетонин.

— Он современный художник, — спокойно ответила женщина. — Метаконцептуалист.

— Метаконцептуалист? — изобразил из себя простеца Железобетонин. — Что это значит?

— Искусством была сама его жизнь.

— Борислав Хмыревич, — задумчиво произнёс Железобетонин. — Не припомню. Как будто, не слышал.

— А я слышала, кажется, — бросила Зверолобова, в этот момент заглянувшая в ординаторскую.

— Вот видите! — женщина злобно посмотрела на врача.

— Приятно, что среди нас есть культурные люди, — ехидно усмехнулся Железобетонин.

— Так. Хорошо, — прервал искусствоведческую дискуссию Золотарёв. — Варвара Бенедиктовна, давайте по порядку. Когда всё это началось?

— Что началось? — не поняла женщина.

— Первые признаки того, что вы называли «аллергией», — вздохнул Золотарёв.

— Примерно два года тому назад, когда муж вернулся из Грузии.

— Из Грузии?

— Да, из Тбилиси.

— Чем он там занимался? — Золотарёв делал записи в формах. — Отдыхал? Работал? Лечился?

— Нет, — с некоторым вызовомотреагировала Хмыревич. — Он отстаивал свои взгляды.

— Какие взгляды? — не понял врач.

— Когда началась мобилизация, муж сказал, что не позволит сделать из себя убийцу, и уехал. Он эмигрировал.

— Он был военнообязанный? — уточнил Железобетонин.

— Нет, — неохотно буркнула Хмыревич. — Но разве у нас это кого-то волнует?

— Почему же он вернулся? — продолжал допытываться Железобетонин.

— У нас кончились деньги, — тяжело вздохнула Хмыревич.

— Вы там жили вдвоём?

— Нет, я осталась здесь. Не смогла уехать, — лицо женщины как будто окаменело. — Но у нас всегда был общий бюджет.

— Разве он не мог найти работу?

— Илья Матвеевич! — сделал замечание Золотарёв.
— Я прошу вас быть деликатнее. У нас тут не допрос, а вы не следователь.

— Извините!

— Мог! — резко ответила Хмыревич, дёрнув подбородком. — Мой муж — талантливый человек. Он может делать любую работу. Но он очень принципиальный. Всегда говорит правду в лицо. Этого не любят. Никто не любит. Как оказалось, не только у нас.

— Это точно! — откуда-то сзади прокомментировала Зверолобова. — Сейчас все врут.

Шпиц тоненько тявкнул, как будто выражая согласие с женщинами. Доктор продолжил делать записи.

— Как проявились признаки заболевания, когда ваш муж вернулся?

— Он сказал, что больше не может выносить ничего русского. Физически не может. Понимаете?

— Не совсем, — признался Золотарёв.

— Ему было очень плохо. Он буквально задыхался в этой атмосфере насилия и лжи. Понимаете? Все были против него. Тогда он пошёл на принцип и попытался полностью отгородиться от российской действительности.

— Каким образом?

— Стал жить затворником. У нас в ванной. Отказался говорить на русском языке.

— Почему в ванной? — удивился Железобетонин.

— А где же ещё? Ведь мы не во дворце с бассейном живём, — оскалилась Хмыревич. — Мы наполнили ванну баварским пивом. Это немного помогало.

— Вы сказали, что он перестал говорить на русском языке. Как вы общались?

— Муж немного владеет английским. Я тоже, — тяжело вздохнула Хмыревич. — Пытались как-то находить общий язык. Использовали жесты. Рисовали предметы на бумаге.

— Как он питался?

— В основном консервами. Финскими. Или турецкими. Что удавалось достать. Русские продукты его организм не усваивал.

— Как часто он покидал ванну?

— Никогда. Он всё время лежал там. Старался погружаться с головой. Дышал через трубку. Садился, когда нужно было узнать новости или поесть.

— Извините меня, — с особенной осторожностью спросил Золотарёв. — А что с естественными выделениями?

— Они шли в ванну, — почти невозмутимо ответила Хмыревич. — Это ему не мешало. Но мы всё равно иногда меняли пиво. Не так часто, как хотелось бы, ведь его приходилось доставать. Это лишние траты. Мы не так богаты.

— Хорошо. Почти всё, — сделал необходимые пометки Золотарёв. — Но я пока не могу понять одного. Если ваш муж хотел полностью оградиться от российской действительности, то как он дышал? Вы как-то фильтровали воздух?

— Нет! — горько всхлипнула Хмыревич. — Это и стало причиной того, что случилось.

— А что случилось? — Золотарёв внимательно посмотрел на неё.

— Муж начал постепенно... — Хмыревич остановилась, подбирая нужное слово. От напряжения в углах её глаз начала сочиться вязкая слёзная влага. — Он начал таять. Понимаете?

Железобетонин потянулся, чтобы подать ей салфетку. От этого стол снова сильно покачнулся. Шпиц затаивкал, порываясь прыгнуть. Хмыревич прижала его к груди, отвлекая поглаживаниями.

— Илья Матвеевич! — рассердился Золотарёв. — Я же просил вас держать стол! Представьте, что мы делаем операцию. Вы сейчас мой ассистент. Не отвлекайтесь на постороннее, пожалуйста!

— Извините, Арсений Яковлевич! — Железобетонин снова навалился локтями на стол. Салфетку подала Зверолобова.

— Спасибо! — приняв салфетку, Хмыревич обтерла ею мордочку собаки.

— Почему вы так долго не обращались за медицинской помощью? — довольно сердито спросил Золотарёв.

— Пока муж мог со мной общаться, он не разрешил. Он считал, что контакт с российской системой здравоохранения окончательно его доконает.

— Доконает, — причмокнув, задумчиво повторил Золотарёв, но записывать не стал.

— На что же он рассчитывал? — не выдержал Железобетонин.

Чтобы дать правдивый ответ, Варваре Хмыревич пришлось собраться с силами. В ординаторской на мгновение установилась тишина, и когда Хмыревич начала говорить, собравшимся показалось, что в её черепе, прямо за поверхностью мертвенно-бледного лица, что-то тихонько хрустнуло:

— Он верил, что российский режим вот-вот падёт. Вся информация, которая стекалась к нему через интернет, говорила, что этот день уже близок. Мы жили надеждой.

— Все мы живём надеждой, — философически отметил Железобетонин.

Пришёл Тихон Ерофеевич и отрапортовал:

— Арсений Яковлевич! Всё готово.

— Спасибо большое, Тихон Ерофеевич, — обрадовался Золотарёв. — Я сейчас подойду.

— Варвара Бенедиктовна! — обратился он к Хмыревич. — Я пойду провожаю вашего мужа, а вы подождите меня здесь. На шутки Ильи Матвеевича внимания не обращайтесь. Он добрый человек и настоящий профессионал, но иногда увлекается.

— Спасибо, доктор! — болезненно посмотрела на него Хмыревич.

Когда врач ушёл, шпиц, затосковав от долгого сидения на коленях, попытался было себя хоть чем-то развлечь. Он опёрся передними лапками на стол и стал весело поглядывать по сторонам. Он понравился Желе-

зобетонину и тот приветливо щёлкнул языком, сразу вызвав у пса ответную симпатию.

— Как вы думаете, — уgomонив своего питомца, Хмыревич обратилась к Железобетонину. — Доктор сможет помочь моему мужу?

— Не сомневайтесь! — принялся успокаивать её врач. — Наш Арсений Яковлевич — настоящий гений. Светило медицины! Он такие операции делает, просто диву даёшься!

Это заявление произвело на женщину благодное впечатление. Она как будто начала оживать. Почувствовав эффект, Железобетонин продолжил:

— К нам тут мальчика доставили, у которого, представьте себе, неправильно выросли руки. Левая — на месте правой, а правая — на месте левой. Очень редкое заболевание. Так Арсений Яковлевич руки ему отрезал и местами переставил. И до того ловко всё сделал, что паренёк уже через полгода на скрипке играл, как Паганини.

18

Посмотрев на реакцию собеседницы и почувствовав, что перегнул, Железобетонин быстро поправился:

— Я немного преувеличиваю, конечно! Откуда мне знать, как Паганини играл? Записей, к сожалению, не сохранилось. Только легенды. Но паренёк играл восхитительно, это точно. Его мать сюда привела, и он специально для нашего коллектива дал небольшой концерт. Все были в полном восторге.

Эти слова ещё больше приободрили раздавленную горем женщину. Даже собачка на её руках как-то при-смилела и любопытно поглядывала по сторонам, как будто лелея в своём маленьком сердце тайную надежду, что и ей здесь сделают какую-нибудь очень полезную операцию.

— Слушайте, — Железобетонин вдруг остро глянул на расслабившуюся было женщину. — А вы уверены, что ваш муж вообще был в этой ванне, когда её принесли?

— Как? — вздрогнула Хмыревич. — Где же ему быть?

— Но ведь вы же сами сказали, что он современный художник, — хитро посмотрел на неё Железобетонин. — Почему бы ему не придумать, что называется, «перформанс»? Вот представьте себе: неизвестные люди приносят в государственное учреждение ванну с какой-то гнилью; все вокруг неё бегают, суетятся, пытаются что-то сделать, спасти человека, а тем временем настоящие больные не получают помощи. Система здравоохранения даёт сбой. А потом в какой-нибудь европейской газетёнке появляется статья о том, какие в России глупые врачи и какие храбрые художники. Как вам такой вариант?

— Что вы такое говорите? — за поверхностью лица Хмыревич тяжело дёрнулась какая-то крепкая и тугая мышца. — Как вы смеете такое говорить? Он ведь на моих глазах буквально растаял. Как он мог куда-то уйти? Ведь у него на обычную жизнь сил совсем не осталось. Он держался одной надеждой. Как вы не можете понять?

— Да, простите. Теперь понимаю, — примирительно поднял руки Железобетонин. — Всё ушло в дух.

— Вы хотите надо мной посмеяться? — с вызовом устремила на него взгляд Хмыревич. — За что? Что я вам сделала плохого, чтобы так со мной обращаться?

— Извините меня! Я же врач. Я просто делаю свою работу. Мне важно установить истину.

Пришла Зверолобова. У неё начался перерыв. Она уселась в углу и принялась щипать корпию. Перевязочных материалов в больнице было достаточно, но она вела кружок исторической медицины и занималась этим из любви к науке.

Когда Хмыревич немного успокоилась, беспощадный Железобетонин предпринял ещё одну вылазку:

— И всё же, вы не думали, что муж мог исчезнуть из ванны?

— Но как? — со сдавленным скрипом отозвалась исстрадавшаяся женщина.

— Ведь если я правильно понял, ваш муж — не просто художник. Он, в некотором роде, политическая фигура.

— Да! — гордо приосанилась Хмыревич. — Так и есть. Мой муж всегда говорил, что искусство, мораль и политика неразрывны.

— Вот и я так считаю! — подхватил обрадовавшийся Железобетонин. — Тогда мы можем предположить, что вашего мужа выкрали спецслужбы.

— Для чего? — проговорив это, Хмыревич стала озираться по сторонам, будто забыв, где и зачем она пребывает.

— Очень просто. Чтобы отомстить, — предположил Железобетонин. — Или обменять на кого-то из наших разведчиков, томящихся сейчас в плену где-нибудь за океаном.

Хмыревич остолбенела. Глянув на неё, Железобетонин понял, что переусердствовал. Он сделал какое-то неловкое движение, отчего стол опять сильно дёрнулся и накренился. Шпиц взвизгнул и спрыгнул с колен хозяйки на пол. К счастью, в этот момент вернулся Золотарёв. Он был доволен:

— Ну вот и всё! Операция прошла успешно.

Хмыревич в тот же момент как будто воскресла, одарив Железобетонина презрительным взглядом. Даже некоторые извилистые прожилки на её лице налились кровью и набухли, как будто порываясь изобразить румянец.

Золотарёв подошёл, достал что-то из кармана халата и положил на середину стола. Шпиц принюхался и злобно зарычал.

— Что это? — недоумевая, посмотрела на него Хмыревич.

— Присмотритесь повнимательнее, — посоветовал врач. — Это ваш муж. Вернее, то, что от него осталось.

— Это всё? — пролепетала Хмыревич, странно сжав челюсти.

— Да! — заверил её Золотарёв. — И вам повезло, что удалось сохранить хотя бы это. Иначе мы бы во-

обще не смогли понять, что с ним на самом деле случилось.

— Это он? — спросил Железобетонин. — Вы его узнали?

— Да, — медленно заговорила Хмыревич, не отрывая взгляда от предмета, который лежал на столе. — Это его палец. Указательный. Я хорошо его помню. Муж часто поднимал его из воды. Он уже не говорил, не показывал головы — не было сил. Но даже тогда он не переставал грозить нашим врагам — лжецам и лицемерам. Теперь я понимаю. Он указывал этим пальцем на язвы общества. Он не мог иначе. Зачем вы его завернули?

— Это вакуумная упаковка, — пояснил Золотарёв. — Так он сможет сохраниться. Вы оказались правы. При такой форме аллергии плоть растворяется от взаимодействия с воздухом.

— Неужели это всё? — не веря своим глазам, вздрогнула бедная женщина. — Неужели мой муж ушёл вот так, не сказав последнего решительного слова?

— Нет! Не ушёл, — спохватился Золотарёв. — Хорошо, что напомнили. Мы просканировали палец и обнаружили под ногтем сгусток ценной информации.

— Что? — не поняла Хмыревич.

— Видите ли, — принялся объяснять Золотарёв, — мы, человеческие существа, то есть разумные люди, живём идеями. Идея — прежде всего. Теперь наука знает это наверняка. Тело — лишь одежда для мысли. Наши идеи, условно говоря, хранятся в мозгу. Так удобнее, но это не обязательно. Если мозг отмирает, сильные идеи переходят в другие органы. Это научный факт. Когда тело человека растворяется постепенно, член за членом, орган за органом, тогда самые главные мысли и переживания, так сказать, итоги жизни, её наивысшие достижения, откладываются в том, что осталось. Они как бы зашифровываются и записываются на микроскопические кристаллы соли. Понятно я объясняю?

— Не знаю, — поникла Хмыревич. — Я не сильна в науках.

— Ничего страшного! — заверил её доктор. — Никто из нас толком не разбирается в этой технологии. Однако она работает. И сейчас важно только то, что последние переживания вашего мужа были своевременно зафиксированы и расшифрованы.

— Правда? — в пустых глазах женщины мелькнуло что-то, напоминающее светлую искорку надежды. — Где же они?

— Они здесь! — торжественно изрёк Золотарёв и положил на стол простой бумажный конверт.

— Что это? — спросила Хмыревич. — Можно посмотреть?

— Конечно! Это право принадлежит вам на законных основаниях.

Хмыревич открыла конверт и извлекла из него два небольших картонных листа с напечатанными на них монохромными изображениями.

— Я ничего не понимаю, — сказала она, осмотрев картонки.

— Что же тут непонятного? — не выдержал Железобетонин. Он забрал результаты сканирования у Хмыревич и стал водить пальцем по изображениям: — На первом снимке гамбургер, а на втором хот-дог.

— Как странно, — Хмыревич выглядела растерянной. — Мой муж думал об этом? Он был голоден?

— Не думаю, — принялся осторожно пояснять Золотарёв. — Данный вид сканирования не регистрирует простые физиологические желания. Это было бы бессмысленно, ведь их всё равно не удовлетворить. То, что показано на этих снимках, можно назвать формулами мысли в виде символических изображений. Вы знаете, что такое символизм?

— Мне сложно сейчас об этом думать, — призналась женщина.

— Сейчас нам всем сложно, — проявил сочувствие Золотарёв. — Но учитывая, что вы рассказали о своём муже, я смею предположить, что полученные изобра-

жения символизируют его понимание российского государства в некоторой идеальной перспективе. Здесь, как бы это сказать поточнее, запечатлены его мечты о свободном и справедливом обществе, построению которого он посвятил свою жизнь. Впрочем, толкования могут быть разными. Об этом вам ещё предстоит подумать. Возможно, кто-то из родственников или друзей вашего мужа сможет предложить более чёткую интерпретацию.

— Знаете, доктор, — Хмыревич положила снимки на стол. Снова под кожей её лица шевельнулась какая-то решительная мышца, — я посвятила мужу свою жизнь. И не только. Ведь он все эти годы существовал за мой счёт. Теперь незачем это скрывать. Он жил в Грузии на мои деньги, которые я копила несколько лет. И всё там растратил. Я верила в его гениальность и работала. Что я получила взамен? Какую благодарность? Его последние мысли о гамбургерах и хот-догах!

— Все они такие, — откуда-то выкрикнула Зверолобова, но это не утешило Хмыревич.

— Зря вы так! — Золотарёв положил руку на её запястье, искренне желая поддержать. — Это просто техника. Она тоже иногда ошибается.

— Техника! — задумчиво проговорила Хмыревич. Она кивнула на почерневший скрюченный палец в пластиковом пакете, всё ещё лежавший на столе. — И что мне теперь с этим делать?

— Хранить, — спокойно ответил Золотарёв. — Это ценный носитель информации. Память о вашем супруге. В каком-то смысле, это он сам. Кто знает, как будут развиваться технологии. Возможно, уже в ближайшем будущем этого будет вполне достаточно, чтобы воскресить его.

— Домой я его не возьму, — с печальной твёрдостью заявила Хмыревич. — Мымрик его сгрызёт. Он у меня очень ревнивый. Они с мужем постоянно из-за меня враждовали.

Шпиц сердито твякнул, как будто подтверждая слова своей хозяйки. После этого в ординаторской на

пару секунд воцарилось тягостное молчание. Однако Хмыревич сама прервала его:

— Знаете, — сказала она собравшимся. — Мой муж всегда боготворил науку. Если вы оставите его себе, это будет правильно. Я имею в виду, он бы это одобрил.

— Только благодаря таким самоотверженным людям, как вы и ваш муж, — с уважением посмотрел на неё Золотарёв, — российская наука всё ещё стоит на ногах.

Слова врача польстили Хмыревич. Она попыталась приосаниться, от чего в её позвоночнике щёлкнуло.

— Варвара Бенедиктовна! — с подчёркнутой официальнойностью уточнил Железобетонин. — Вашего мужа не смутит, что теперь он будет служить режиму, с которым всю жизнь боролся?

— Илья Матвеевич! — вспыхнул Золотарёв. — У меня такое ощущение, что вас сегодня укусила какая-то муха. Что с вами такое?

— Он современное искусство не любит, Арсений Яковлевич, — прокомментировала со своего места Зверолобова.

— Операционный стол — вот где творится настоящее искусство! — гордо провозгласил Железобетонин. Шпиц Мымрик легонько твякнул, с уважением посмотрев на большого человека в белом халате.

— Варвара Бенедиктовна! Заполните, пожалуйста, этот бланк, — Золотарёв протянул Хмыревич листок и ручку. — Это нужно, чтобы мы смогли официально передать вашего мужа по ведомству науки.

Когда Хмыревич подписала все необходимые документы и ушла, Золотарёв взял палец, нагнулся и подложил его под ножку стола. Убедившись, что теперь стол стоит ровно и не качается, он обратился к своим коллегам:

— Давайте уже чай пить. У меня скоро следующая операция.

мертвый текст

Рэймон Руссель
LOCUS SOLUS¹

*Моей сестре герцогине Эльшенгенской
с самыми нежными чувствами. Р. Р.*

Глава первая

Как-то в начале апреля, в четверг, мой ученый друг мэтр Марсьяль Кантрель пригласил меня и нескольких других своих близких друзей погулять в огромном парке, окружавшем его красавицу-виллу Монморанси.

Locus Solus — так называется это имение, тихая обитель, где Кантрель любит заниматься в полном спокойствии духа своими многообразными и плодотворными трудами. В этом *уединенном месте* он чувствует себя достаточно защищенным от парижской сутолоки и при этом может за четверть часа добраться до столицы, когда его исследования требуют посидеть в какой-либо специализированной библиотеке или когда настанет момент выступить перед научным миром где-нибудь на авторитетнейшей конференции с новым сообщением.

Почти весь год Кантрель проводит в *Locus Solus* в окружении учеников, страстно восхищающихся его непрерывными открытиями и фанатично помогающих в осуществлении его замыслов. На вилле несколько

¹ Перевод с французского Е. Маричева. Начало. Продолжение в «Опустошителе #48. Сновидение».

комнат с роскошным образцовым лабораторным оборудованием, за которым следят многочисленные помощники, а мэтр отдает всю свою жизнь науке, с легкостью устраняя благодаря крупному состоянию холостого мужчины, не несущего никаких расходов, все материальные трудности, возникающие в ходе его упорного труда от ставящихся им же разнообразных целей.

Пробил третий час. Стояла хорошая погода, и солнце сверкало на почти полностью свободном от облачков небосклоне. Кантрель встретил нас неподалеку от виллы на поляне под старыми деревьями, в тени которых живописно расставлены были плетеные стулья.

После прибытия последнего из приглашенных хозяин предложил нам пройтись, и все гости покорно тронулись за ним. Высокий, смуглый, с открытым правильной формы лицом и живыми глазами, излучавшими его чудесный ум, Кантрель едва ли выглядел на свои сорок четыре года. Теплый голос с убедительными нотками весьма украшал его увлекающую манеру говорить, притягательность и ясность которой делала его одним из королей красноречия.

Итак, мы пустились в путь по круто ведущей в гору аллее.

Поднявшись до половины склона, мы увидели с краю дороги в довольно глубокой каменной нише необычно старую статую, вылепленную, как казалось, из черной сухой и затвердевшей земли и изображавшей — не без кокетства — улыбающегося обнаженного мальчика. Руки его были протянуты вперед так, как если бы он приносил что-то в дар, а раскрытые ладони подняты к своду ниши. Из правой ладони торчало какое-то маленькое усохшее растение, донельзя старое, Бог весть когда проросшее в руке.

Кантрель рассеянно двигался дальше, но вынужден был ответить на наши дружные расспросы.

— Это — «Объединитель» с цитварным семенем, которого Ибн Батута видел в центре Томбукту, — сказал

он, указывая на статую, а позже поведал нам ее историю.

Хозяин наш был близко знаком со знаменитым путешественником Эшнозом, который еще во времена своей ранней молодости предпринял экспедицию в Африку и добрался до Томбукту.

Впитав в себя еще до отъезда все описания привлекавших его мест, Эшноз несколько раз перечитал книгу странствий арабского теолога Ибн Батуты, считавшегося самым великим исследователем четырнадцатого века после Марко Поло.

Уже под конец своей жизни, богатой памятными историческими открытиями, когда он мог бы с полным правом на покое вкушать полноту славы, Ибн Батута отправился в еще один дальний поход и увидел загадочный Томбукту.

Читая его повествование, Эшноз обратил особое внимание на один из эпизодов.

Когда Ибн Батута в одиночку вошел в Томбукту, город находился в состоянии безмолвного оцепенения.

Трон принадлежал тогда женщине — царице Дюль-Серуль, едва достигшей двадцати лет и еще не выбравшей себе супруга.

Она страдала время от времени жестокими приступами аменореи, приводившими к приливам крови, которые достигали мозга и вызывали припадки страшного безумия. Припадки эти тяжело сказывались на подданных, если учесть абсолютную власть царицы, которая в такие минуты раздавала направо и налево безумные приказы, беспричинно умножая число осуждаемых на смерть.

В стране могло бы вспыхнуть восстание. Но за исключением таких моментов упоминания Дюль-Серуль правила своим народом с величайшей добротой и мудростью, и такое счастливое царствование народу редко когда еще доводилось испытывать на себе. Поэтому вместо того, чтобы бросаться в неизвестность, свергнув царицу, люди терпеливо сносили

ее временные выходы, возмещавшиеся долгими периодами процветания.

Никому из лекарей царицы до тех пор не удавалось побороть ее недуг.

Случилось так, что ко времени прибытия Ибн Батуты на Дюль-Серуль обрушился приступ, каких она еще не знала. По первому ее слову беспрестанно казнили безвинных людей и поджигали целые поля с неснятым урожаем.

Терзаемые ужасом и мучимые голодом жители ждали со дня на день окончания приступа, длившегося уже сверх всякой меры и делавшего их существование невыносимым.

На главной площади Томбукту стоял некий фетиш, который, судя по народным верованиям, обладал огромной силой.

Это была статуя ребенка, вылепленная из черной земли и установленная при довольно любопытных обстоятельствах во времена царствования одного из предков Дюль-Серуль — Форукко.

Обладая такими же здравым смыслом и мягкостью, которыми отличалась в обычное время нынешняя царица, Форукко издавал законы и сам трудился на благо своего народа. Будучи знающим земледельцем, он лично следил за полями, вводя многие полезные новшества в старинные способы посева и сбора урожая.

Восхищенные такой жизнью этого народа соседние племена объединились в союз с Форукко, дабы и самим вкусить от плодов его наказов и мыслей, хотя при этом каждое из них сохранило свою самостоятельность, а также и право в любой момент снова стать абсолютно независимым. Это был договор о дружбе, а не о подчинении, которым они обязались, кроме прочего, объединяться при необходимости против общего врага. В пылу небывалой радости, вырвавшейся наружу при торжественном, объявлении о создании столь обширного союза, было решено изваять памятный знак, который увековечил бы это замечательное

событие, а вылепить его задумали только из земли, привезенной от объединившихся племен.

Итак, каждая народность отправила свою часть, выбирая ее на плодородных местах, чтобы служила она символом счастья и изобилия, ожидавшихся от правления Форукко.

Из всей этой смешанной и вымешанной вместе земли знаменитый ваятель, славившийся умением выбирать темы для своих произведений, вылепил прелестного улыбающегося мальчика, который, как подлинный общий отпрыск многих племен, соединившихся в одну семью, казалось, еще больше упрочнял связавшие их узы.

Статуя была установлена на главной площади Томбукту и получила в силу истории своего создания название, которое на современный язык можно перевести словом «объединитель». Искусно вылепленный обнаженный мальчик протягивал руки ладонями вверх, как бы принося какой-то невидимый дар, напоминая этим символическим жестом о даре богатства и счастья, обещанном воплощаемым им замыслом. Статуя вскоре высохла, затвердела и приобрела немалую прочность.

Как на то все и надеялись, для объединившихся народностей настал золотой век, а они, видя в своем благоденствии руку «Объединителя», стали истово поклоняться этому всемогущему идолу, всегда готовому исполнять их бесчисленные просьбы.

В царствование Дюль-Серуль объединение кланов по-прежнему существовало, и фанатические чувства к «Объединителю» оставались столь же сильными.

Однако безумие царицы день ото дня все усиливалось, и тогда народ решил отправиться всем миром к земляной фигурке и просить у нее немедленного избавления от постигшего их несчастья.

Ибн Батута видел сам и описал, как длинная процессия во главе со священниками и знатными людьми отправилась к «Объединителю» и обратила к нему, соблюдая определенный ритуал, свои пламенные мольбы.

В тот же вечер над всем краем пронесся страшный ураган, нечто вроде опустошительного вихря, быстро пролетевшего над Томбукту, но не повредившего «Объединителя», укрытого стоявшими вокруг строениями. В последующие дни утратившая былой порядок стихия приносила частые ливни.

Между тем острое душевное расстройство царицы все усугублялось, становясь ежечасно причиной все новых бедствий.

В воздухе уже повеяло разочарованием в «Объединителе», когда однажды утром все увидели проросшее в правой руке фигурки маленькое растение, готовое распусться.

Без тени сомнения каждый человек принял это растение за лекарство, чудесным образом дарованное мальчиком-идолом для излечения Дюль-Серуль.

Принявшись быстро расти под чередующимся действием дождя и жаркого солнца, растение выпустило на свет маленькие бледно-желтые цветочки, которые были с тщанием собраны, высушены и тотчас же предложены царице, дошедшей тогда уже до крайней степени умственного затмения.

Принятое ею лекарство мгновенно оказало свое действие. Дюль-Серуль почувствовала наконец облегчение, вновь обрела разум и свойственные ей справедливость и доброту.

Опьяневший от радости народ устроил пышную благодарственную церемонию «Объединителю», и, желая предотвратить новые приступы, люди решили с помощью регулярного полива продолжать взращивать таинственное растение, оставив его в силу суеверного почтения в руке статуи. Никто не осмелился пересадить его семена в другое место, так как растение это до того времени не было никому известно в тех краях и люди могли лишь предположить, что принесенное по воздуху ураганом из дальних стран семечко упало на правую руку идола и проросло в плодородной земле благодаря дождю.

Согласно всеобщему мнению, всемогущий «Объединитель» сам вызвал циклон, сделал так, что семечко долетело до его руки, а затем дал ему и прорости.

Эта история была самым интересным местом в повествовании Ибн Батуты для путешественника Эшноза, который по прибытии в Томбукту поинтересовался судьбой «Объединителя».

Между объединившимися ранее племенами произошел раскол, в результате которого идол лишился какого бы то ни было значения, был с позором убран с главной площади, низведен до положения простой достопримечательности в числе реликвий одного из храмов и давно забыт.

Эшнозу удалось увидеть его. В руке мальчик все еще держал достославное растение — усохшее и сморщившееся, которое когда-то, как удалось разузнать исследователю, в течение нескольких лет сдерживало очередные приступы Дюль-Серуль, пока в конце концов она полностью не излечилась. Обладая познаниями в ботанике, которых требовала его профессия, Эшноз определил в этом древнем растительном остатке стебель *artemisia maritima* и припомнил, что если его принимать в очень малом количестве в виде желтоватого лекарства, именуемого *цитварным семенем*, высушенные цветы этого лучистого растения действительно становятся очень сильным средством, вызывающим месячные. Лекарство это извлекалось из единственного скудного источника в малых дозах и в самом деле все время благотворно действовало на Дюль-Серуль.

Полагая, что «Объединителя» в его теперешнем заброшенном состоянии можно приобрести, Эшноз предложил за него немалую цену, которая тут же была принята, а затем привез в Европу эту необычную фигурку, возбуждившую живой интерес Кантреля своей историей.

Сам Эшноз не так давно умер, завещав «Объединителя» своему другу в память о выказанном им интересе к старинному африканскому идолу.

Наши взгляды, устремленные на мальчика-символ, окруженного теперь в наших глазах, как и усохшее растение, ореолом самой яркой славы, вскоре нашли для обозрения новый объект в виде трех прямоугольных горельефов, вырубленных прямо в камне нижней части возвышавшейся глыбы с углублением для фигурки.

Перед нами между землей и площадкой, на которой стоял «Объединитель», одна над другой горизонтально располагались эти три нежно раскрашенные плиты, уже кое-где выветрившиеся, и так же, как и вся каменная глыба, создавали впечатление глубокой древности.

На первом горельефе была изображена молодая женщина на покрытом травой поле в восторженной позе с тяжелой охапкой цветов в руках, вглядывающаяся в виднеющееся на горизонте слово ТЕПЕРЬ, начертанное узкими облачками, мягко изгибающимися под дуновением ветра. Несмотря на стертость, нежные и яркие цвета видны были повсюду, четче всего проявляясь на облаках, усыпанных красными отблесками вечерней зари.

Чуть ниже на второй скульптурной картине видна была та же незнакомка в прекрасно обставленной зале, извлекающая через прореху из синей, богато расшитой подушки одноглазую марионетку в розовом костюме.

На третьей части, у самой земли, изображен был одноглазый человек в розовых одеждах — живое отражение марионетки, показывающий нескольком зевакам среднего размера кусок зеленого мрамора с прожилками, в верхней части которого с заделанным в него наполовину слитком золота было выгравировано легкими штрихами слово *Ego* с инициалами и датой. На заднем плане находился небольшой туннель, перекрытый изнутри решеткой, ведущей, как казалось, в некую огромную пещеру, выдолбленную в склонах зеленой мраморной горы.

В двух последних картинах синий, розовый, зеленый и золотой цвета еще сохраняли некоторую свежесть.

На наши расспросы Кантрель рассказал об этой художественной трилогии.

Лет семь назад, узнав о создании общества для раскопок бретонского города Глоанника, разрушенного и засыпанного песком в пятнадцатом веке сильнейшим ураганом, не помышляя о какой-либо для себя выгоде, наш хозяин подписался на большое число акций с единственной целью способствовать этому грандиозному предприятию, от которого он ждал необыкновенных результатов.

Вскоре крупнейшие музеи Старого и Нового Света стали оспаривать друг у друга многие ценности, возвращенные к жизни благодаря умелым и правильно рассчитанным раскопкам и сразу же отправлявшиеся в Париж на испытание огнем публичных аукционов.

Кантрель присутствовал при каждом новом подвозе древних вещей и как-то вечером при виде трех разноцветных горельефов, украшавших основание недавно выкопанной каменной глыбы с нишей, вспомнил армориканскую легенду, входящую в истории короля Артура.

В давние времена в Глоаннике — столице дикой страны Керлагуэзо, приютившейся на самой западной оконечности Франции, — ее еще молодой царь Курмелен почувствовал, как стало слабеть его и без того некрепкое здоровье.

Курмелен к тому времени давно уже лишился супруги своей Плевенек, умершей при рождении их первого ребенка — принцессы Элло.

Зная, что братья его помышляют о том, как бы завладеть тронном, и будучи заботливым отцом, Курмелен со страхом думал о том, как после его, несомненно, близкой кончины Элло, которая по законам страны должна будет править единолично, в силу своего юного возраста столкнется со многочисленными заговорами.

Лишенная украшений из драгоценных камней, но восполнявшая эту нехватку роскоши своей большой древностью, тяжелая золотая корона Курмелена, именовавшаяся «Самородной» и украшавшая с незапамятных времен чело каждого из царей Керлагуэзо, превратилась постепенно в самую суть абсолютной царской власти, так что без нее ни один властитель не смог бы царствовать ни одного дня. Находясь под властью страстного идолопоклонства, способного возвыситься над любой законностью, народ мог признать своим господином всякого, притязающего на трон, который оказался бы настолько ловким, что завладел этим знаком, предусмотрительно запертым в надежном месте под охраной часовых.

Первым изготовленную по его приказу корону надел на себя один из предков Курмелена — Жуэль Великий, в давние времена основавший царство Керлагуэзо и его столицу.

Покинув лучший из миров почти в столетнем возрасте после славного царствования, обожествленный легендой Жуэль превратился в звезду и продолжал опекать свой народ. В стране же каждый знал, как найти его среди созвездий, чтобы обратиться к нему с просьбой и молитвой.

Веря в сверхъестественную силу своего замечательного предка, терзаемый недобрыми предчувствиями, Курмелен заклинал его прислать ему во сне спасительное озарение. Чтобы лишить братьев своих какой бы то ни было надежды на успех, он долго думал о том, как бы спрятать подалеже от их посягательств в никому не известном месте столь почитаемую и необходимую для получения трона корону. При этом нужно было, чтобы по достижении возраста, в котором она могла бы противостоять своим врагам, для провозглашения себя царицей Элло нашла древний золотой венец, хотя из соображений осторожности ей нельзя было рассказать о выбранном месте, ибо у ребенка нетрудно вырвать тайну силой или хитростью. Видя, что ему придется с кем-нибудь поделиться своим замыс-

лом, и чувствуя, сколь серьезно его положение, царь колебался.

Жуэль услышал просьбы своего потомка и посетил его во сне, чтобы научить, как правильно поступить.

С тех пор Курмелен делал все только так, как ему было указано свыше.

Он расплавил корону и вылил из нее простой продолговатый слиток, а затем отправился с ним на волшебную гору Зеленый Горб, прославившуюся после того, как на ней когда-то побывал Жуэль.

На склоне лет, объезжая свои владения в заботе о сытой жизни народа и о честном правлении наместников, Жуэль устроил однажды вечером ночной привал в заброшенной местности, где никогда до того не бывал.

Царский шатер был разбит у подножия Зеленого Горба — бесформенной горы, поражавшей глаз мрачным видом и отблесками мрамора с тонкими прожилками. Пока готовили ночлег, охваченный любопытством Жуэль пошел вверх по горе, беспрестанно остукивая посохом с окованным железом концом твердую почву, как бы желая понять, что она собой представляет.

В одном месте от удара палкой послышался смутный подземный отзвук, вызвавший его удивление. Он остановился, стал с силой бить в разные точки подозрительного места и услышал глухое эхо, расходившееся по склонам горы и указывавшее на то, что под ногами у него была большая пещера.

Сообразив, что кто может оказаться хорошее убежище на обещающую быть холодной ночь, Жуэль не пошел дальше в гору, а направил своих людей искать какую-нибудь расщелину, по которой можно было бы проникнуть в это неожиданно представшее перед ними логово.

Поиски входа не давали, однако, никаких результатов, и раздраженный царь, предположив, что где-нибудь тут должен был быть, возможно, засыпанный

песком проход, приказал расчистить гору в том месте, где ему слышался странный звук.

Несколько слуг вооружились подручными инструментами и, превратившись на это время в землекопов, почти сразу же обнажили вершину свода и расчистили ее так, чтоб внутрь мог пройти хоть один человек.

С факелом в руке Жуэль проник в узкий проход и вскоре очутился в красивейшей пещере из зеленого мрамора, украшенной странными геологическими проявлениями — громадными золотыми самородками, составлявшими сами по себе несметное богатство, которое могло быть вдесятеро умножено другими кусками золота, наверняка сокрытыми в толще каменной массы.

Пораженный увиденным, Жуэль решил сберечь эти сказочные сокровища на случай возможных разрушительных бедствий в будущем и оградить их от алчных посягательств, полагая, что в настоящее время в них не нуждалось счастливо живущее царство, спокойно наслаждавшееся благами, принесенными рвением его основателя.

Царь не стал тем не менее раскрывать свой замысел, призвал к себе свою свиту, и все они безмятежно провели ночь в гостеприимной пещере.

Наутро люди начали снова от горы к близлежащей деревне и обратно, и под руководством Жуэля за дело взялись мастера. После того как они разгребли весь песок, узкий грубый проход превратился в широкий туннель, на середине которого, когда все ушли из пещеры, установили толстую двухстворчатую решетку, но, следуя безоговорочному наказу царя, замок на нее не повесили.

И тогда в присутствии всех знакомый с магией Жуэль произнес два торжественных заклинания. Первым он навсегда защитил гору от самых твердых инструментов, а вторым запер толстую высокую решетку, заколдовав ее в то же время от разрушения и проникновения за ее черту.

Затем царь поведал находившимся рядом с ним людям, что некое волшебное речение, которого он сам не знает, а значит, не сможет, если даже и захочет, заполучить оставленные в пещере сокровища, речение, извещающее о некоем сверхъестественном событии, приуроченном к его смерти, сможет на время открывать решетку для того, кто сумеет произнести его без запинки. Один только раз в будущие века в случае великих народных бедствий, опасность или наступление которых могут потребовать обращения к этим богатствам, Жуэль сможет открыть одному из своих потомков во сне это магическое речение. Он заранее раскрывал суть этой волшебной формулы, чтобы многие смельчаки, предпринимая время от времени попытки завладеть сокровищем, уберегли его от вынужденного забвения, в которое его повергло бы полнейшее заточение.

Возвратившись через месяц после объезда страны в Глоанник, обремененный годами и славой, Жуэль умер в одну из светлых ночей, и тут же на небосклоне засияла новая звезда.

Народ не замедлил узреть в этом сверхъестественное явление, недавно предсказанное Жуэлем на годину его конца, и с полной уверенностью признал в столь внезапно народившейся звезде саму душу почившего царя, готовую вечно радеть о судьбах его страны.

Поняв теперь, о каком событии должно было говориться в магическом речении, способном открыть путь к огромным богатствам Зеленого Горба, новый царь — честолюбивый сын Жуэля — произнес перед заколдованной решеткой множество коротких заклинаний, на тысячу разных ладов описывавших превращение усопшего властителя в небесную звезду. Однако он так и не нашел верные слова, ибо створки решетки не раскрывались. И точно так же ничем завершались подобные попытки, предпринимавшиеся после него.

И вот никому доселе не дававшуюся фразу Курмелену во сне передал собственными устами Жуэль, раз-

решивший ему воспользоваться ею, дабы предотвратить страшную междоусобную грозу, нависшую над царством.

Придя на Зеленый Горб, он промолвил слова, к которым другие до него за минувшие века лишь приблизились:

— *Горит Жуэль — звезда на небесах.*

Решетка широко распахнулась и тут же вновь закрылась, стоило царю пройти в зеленую пещеру.

Следуя наказу Жуэля, Курмелен, понявший двигавшие его предком причины, решил спрятать здесь все золото от своей короны. Где было найти более надежное укрытие, чем эта пещера, столь долго оставшаяся нетронутой, несмотря на тысячекратные попытки проникнуть в нее? И даже если бы какой-нибудь злокозненный искатель в конце концов распал бы волшебное слово, бесчисленное множество золотых самородков, находившихся в пещере, от которых теперь ничем не отличалась превращенная в слиток корона, служило бы защитой от угрожавшего стране бесчестного захвата престола. Ведь благодаря суеверию народа только тот, кто увенчает свою голову короной предков, вновь выкованной из ее же золота, сможет стать царем. А как удастся ему отличить подлинный слиток от множества ему подобных?

Вынув без особого труда длинный камень, наполовину торчавший из отдельно лежавшей глыбы зеленого мрамора, Курмелен высвободил подходящую полость, в которую точно вошел драгоценный тяжелый предмет, ставший теперь похожим на остальные куски золота, как бы оправленные в офиты со всех сторон пещеры.

Но такая неузнаваемость слитка лишила бы возможности взойти на царство и саму Элло, которой однажды, перед тем как придать ему форму царского венца, предназначенного для ее чела, пришлось бы доказать народу с помощью неопровержимого знака его почти божественное происхождение.

Острием кинжала Курмелен, все так же по велению Жуэля, начал писать на основании зеленой глыбы, стараясь оставлять на мраморе лишь едва заметные знаки.

Испокон веков цари Керлагуэзо подписывали важные документы не своим именем, а словом *Ego* — «Я», усиливавшим их авторитет и делавшим из каждого на время его правления высшее «я», начало и конец всего. Однообразие этого краткого слова восполнялось особенностями почерка и датой, которые только и указывали на конкретного властителя.

Без колебаний решив использовать привычную подпись, Курмелен нацарапал свое *Ego*, затем дату и сразу же засыпал написанное тонким слоем песка. Благодаря этой последней предосторожности царя, который, зайдя в пещеру, специально направился в самое темное ее место, для любого нового искателя, если бы тому каким-то неведомым способом посчастливилось произнести правильное заклинание, становилось почти невозможно найти знак.

Курмелен произнес после этого пять заветных слов, решетка открылась, чтобы выпустить его, и вновь захлопнулась.

По возвращении царь объявил при всем народе, хотя и не раскрывая подробности, что расплавленная корона была укрыта им в горе Зеленый Горб, магическое заклинание для проникновения в которую ему открыл во сне сам Жуэль. Народ, чтобы быть уверенным в своем будущем, должен был знать, что скрытое в надежном месте священное золото, возможная утрата которого повергла бы его в таящее в себе угрозу отчаяние, было по-прежнему готово подтверждать право на власть грядущих царей.

Чувствуя приближение обьятий смерти, Курмелен спешно завершил наказания Жуэля, который вместе с прочими советами предписал ему взять себе без опасений главный наперсником некоего Ле Кийска, бывшего придворным шутом.

Кривой и уродливый, чтобы сделать еще более смешной свою персону — предмет всеобщих насмешек, Ле Кийек всегда одевался в розовое, как самый кокетливый из щеголей, но обладая острым умом, да и вообще не имея привычки лезть за словом в карман, прятал под личиной паяца честную и добрую душу, искренне преданную царю.

Курмелен сперва подивился такому выбору, но поразмыслив, восхитился мудростью Жуэля. Ле Кийек был, конечно же, более надежным доверенным лицом, чем кто-либо другой, ибо его уродство и положение всеобщего посмешища делали его в глазах всех недостойным стать избранным хранителем великой тайны, а значит, ему нечего было опасаться насилия или угроз с целью заставить его говорить.

Царь открыл шуту слово в слово волшебное заклинание, место, где лежал драгоценный слиток и где была поставлена подтверждающая подпись. Когда наступит время действовать, Элло, извещенная как дочь царского и божественного рода одним из небесных знаков, недоступных простым смертным вроде Ле Кийека, сама придет к кривому за тайной. Только в этот день, так как невольное проявление интереса или благоволения могли преждевременно вызвать подозрения окружающих, странный наперсник будет указан девушке таким способом, о котором не должен был ничего знать и сам Ле Кийек, которому отныне предстояло просто долго ждать. Отпустив шута, Курмелен нашел в игрушках дочери одетую в розовое марионетку и вырвал у нее глаз.

Когда царица Плевенек была беременна, она собственноручно расшила роскошную синюю подушку, на которой, как ей хотелось, лежало бы рядом с ней на постели ожидаемое ею дитя, пока она не оправится после родов. Курмелен всегда пытался внушить Элло почтение к этой реликвии, которой ее бедная мать, унесенная смертью, так и не смогла воспользоваться. Распоров часть шва, он засунул марионетку в самую середину пуховой набивки, а потом приказал камери-

стке зашить случайно сделанную им, как он сказал, прореху.

Царь поведал затем Элло, предупредив ее сначала, что разговор этот нужно сохранить в тайне ото всех, что в синей подушке ее ждет подарок, но достать его оттуда она должна, только дождавшись наказа с небес.

До самого конца Курмелен лишь следовал во всем повелениям Жуэля, не уставая восхищаться его мудрой прозорливостью. Поскольку небесное извещение снизойдет к принцессе только, когда она достигнет возраста, в котором сможет противостоять своим соперникам, Элло должна будет найти в подушке, которой не грозила опасность затеряться, ввиду ее августейшего происхождения, некий символ в странном подарке, сделанном взрослой девушке в виде простой незамысловатой игрушки. Рано или поздно марионетка в розовом одеянии и с одним глазом обязательно приведет ее напряженно работающий ум к шуту Ле Кийеку, которого ей и нужно будет расспросить. Кроме того, если родственные принцы в своих гнусных поползновениях вырвали бы у еще не подростковой и слабой Элло тайну синей подушки (хотя у них и не было бы причины настаивать, видя, что предмет этот сверху цел) и даже столь важное признание о небесном знаке, то, когда из густого пуха был бы извлечен не вождеденный документ, а странная смешная кукла, столь подходящая возрасту ее новой хозяйки, то это приняли бы за нежный каприз отца, желавшего подчеркнуть значение своего подарка непредвиденным и необычным местом, в котором он был укрыт. Предмет, не имеющий осязаемой ценности, будет, конечно, отдан Элло. Она же, пользуясь им как игрушкой, позднее, в день небесного явления, поймет, что пробил час, когда ей следует узнать, что же лежит в подушке. Увидев, насколько не отвечает эта игрушка ее возрасту расцветшей девушки, она погрузится в глубокие размышления, обратит внимание на два необычных при-

знака куклы и в конце концов поймет, что она ведет ее к Ле Кийеку.

Вскоре Курмелен умер. Братья его, воспользовавшись малолетством Элло, разделились на партии и развязали гражданскую войну в стремлении захватить власть каждый себе. Однако ни у кого из них не было священного золота, из которого можно было бы восстановить корону, никому и не удалось добиться, чтобы его признали королем.

Напрасно произносились все новые и новые слова в попытках открыть неприступную решетку горы Зеленый Горб, еще сильнее притягивавшую к себе жаждущих власти, так как за ней был спрятан слиток золота короны. Невзирая на домогательства дядьев, подозревавших, что отец мог раскрыть ей дорогу, ведущую к цели, Элло смогла сохранить тайну в неприкосновенности.

Царство охватила волна беспорядков, поскольку и сама Элло не могла стать царицей, пока не получит священную корону.

Одетый все так же в розовое Ле Кийек, живший на ренту, завещанную ему Курмеленом, смешил на прогулках старых царедворцев, отвечая тонкими островами на их болтовню.

Время шло, и в восемнадцать лет Элло стала постоянно думать о небесном знаке, предсказанном ей отцом, в надежде, что ей будет тем самым представлен способ спасти страну, доведенную до окончательной разрухи непрерывным хаосом и междоусобицами.

Однажды июльским вечером, когда юная царица возвращалась одна с охапкой цветов в замок своих предков, где она проводила каждое лето, густокрасные отблески только что зашедшего солнца осветили своим пламенем плывущие на горизонте, вытянутые вдаль облака.

Остановившись полюбоваться закатной феерией, Элло увидела, как некоторые узкие полосы облаков

вдруг странно прогнулись от вечернего ветерка и в небе образовалось сложенное неровными буквами слово:

ТЕПЕРЬ

Несколько мгновений спустя слово растаяло в воздухе. Но Элло почувствовала, как вдруг забилося ее сердце, и поняла, что небо послало ей долгожданный знак. Она должна действовать *сейчас*.

По возвращении в замок она разорвала синюю подушку, с которой до сих пор обращалась с величайшей бережностью, вполне объяснимой тем, что к ней прикасались священные руки ее матери, чтобы не показаться подозрительной. Увидев в ней всего лишь куклу, она поначалу растерялась, но затем задумалась, поняв, что игрушка не соответствует ее возрасту неспроста. Внезапно по цвету платья куклы и по отсутствующему глазу девушка догадалась, что загадочная марионетка указывает ей на Ле Кийека. Она призвала шута в замок и рассказала ему обо всем.

Ле Кийек в свою очередь поведал ей доверенные его чести тайны и стал призывать ее немедленно отправиться на гору Зеленый Горб и поспешить исполнить властный наказ небес, намеренно посланный в подходящий момент, когда ни один из возможных узурпаторов, ослабленных жестокой междоусобной борьбой, не мог всерьез помешать воцарению законной власти. После того как она, завладев священным слитком, приведет в восторг свой народ.

Усевшись в просторные носилки, Элло немедленно тронулась в путь, сопровождаемая шутотом, а тот трубил направо и налево об истинной цели своей госпожи, чем привлекал к кортежу многочисленных фанатиков, которым не терпелось побывать при знаменательном событии, призванном положить конец эре беспорядков и разрушений.

Юная царевна достигла горы Зеленый Горб вместе с огромной толпой к радости Ле Кийека, рассчиты-

вавшего на всех этих людей как на свидетелей предстоящего.

Открыв решетку тайным заклинанием, произнесенным так, чтобы никто не мог его услышать, шут проник в пещеру и направился к указанному ему месту, позвав с собой нескольких человек, которые должны были подтвердить его полнейшую честность.

Ле Кийек указал следовавшим за ним людям на мраморную глыбу Курмелена, и те подняли ее и вынесли из пещеры, решетка же закрылась только после того, как вышел последний человек. Все было совершено чрезвычайно быстро.

Шут смахнул с глыбы песок и показал всем подпись покойного царя на верхней ее части, рядом со священным золотым слитком, в подлинности которого отныне можно было не сомневаться.

Элло тронулась в обратный путь, к Глоаннику, увозя с собой на носилках нетронутую мраморную глыбу. Под восторженные возгласы толпы, вызванные радостью от успеха экспедиции, сопровождавший ее кортеж пополнялся с каждым новым шагом. Напрасно пытались противники ее остановить этот поток, увещевая своих солдат, которые, впрочем, дознавшись о прекрасном возвращении слитка и зачарованные его волшебной силой, сами вставали под знамя счастливой царевны.

Элло с триумфом отнесли в ее дворец вместе со вновь обретенным золотом, вскоре еще раз послужившим для изготовления священной короны, которую она затем и водрузила на свое чело при всем народе и под громкие крики «Да здравствует царица!» В этот вечер звезда Жуэля сверкала ярче обычного.

После этого царица решила поднять свою страну, воспользовавшись сокровищами пещеры, добычу которых начали весьма скоро. Теперь решетку открывали заклинанием рабочие с лопатами, и вскоре благодаря золоту, добывавшемуся в больших количествах из глубин зелено-мраморной горы, царство снова стало процветать.

Народ на руках носил свою царицу, к которой вернулась наконец радость; она же осыпала Ле Кийека своими милостями.

В порыве возвышенных чувств было решено извлечь статую юной царицы с короной на челе и установить ее, подобно изображениям святых, в просторной нише, а под ней разместили три цветных горельефа, описывающих эту необычную историю.

При внимательном рассмотрении определили, что именно эта ниша была извлечена во время последних раскопок, проводившихся компанией, чьим акционером был Кантрель.

Дальнейшее обследование позволило быстро обнаружить, что отсутствовавшая в нише статуя в момент совершения находки лежала, разбитая на тысячу осколков, под нишей, отброшенная далеко вперед каким-то уже забытым катаклизмом.

Кантрель загорелся желанием заполучить эту старинную вещь, само существование которой придавало легенде немалую толику правды. Смело торгуясь на аукционе, он стал ее счастливым обладателем и установил в своем саду, продержав, однако, сие каменное вместилище пустым в течение шести лет, так как не мог найти статую, достойную по своему возрасту и ценности столь редкостного укрытия, пока оно не было отдано древнему и славному «Объединителю», получившему в нем защиту от ветра и дождя.

Бросив прощальный взгляд на эту двойную достопримечательность, мы последовали за Кантрелем, уже готовым вести нас по поднимавшейся вверх аллее.

Глава вторая

По мере того как мы двигались в гору, растительность становилась все скуднее. Вскоре почва совсем оголилась, и в конце аллеи мы оказались на обширной очень ровной и совершенно голой площадке. Сделав

еще несколько шагов мы вышли к месту, где стояло нечто вроде трамбовочного инструмента, напоминавшего по виду *бабу* или ручной копер, применяемый при укладке брусчатки в мостовую.

Казавшаяся на первый взгляд легкой, хотя и полностью сделанная из металла, *баба* была подвешена к небольшому светло-желтому аэростату, похожему своей вогнутой по кругу нижней частью на монгольфьер.

Земля под этим предметом имела престранный вид.

На достаточно большой площади там и тут торчали человеческие зубы самых разных форм и цветов. Ослепительно белые рядом с желтоватыми и коричневыми резцами курильщиков. В этом странном скопище находились все оттенки желтого цвета: от легчайших соломенных тонов до самых насыщенных рыжеватых окрасов. Свою лепту в это многоцветье вносили синие зубы — от нежно-голубых до темных, с которыми соседствовало множество черных, бледно-красных и алых окровавленных корней.

Разнообразие форм и размеров зубов, казалось, не имело конца: огромные коренные и чудовищного вида клыки соседствовали с почти незаметными молочными зубами. Ансамбль расцветчивался металлическими отблесками пломб.

В месте, где стоял копер, плотно посаженные зубы одним лишь чередованием цветов образовывали настоящую, пока еще незаконченную картину. Все вместе изображало рейтара, дремлющего в темном подземелье, пѣмно лежащего на берегу подземного озера. В плотном облаке, отлетавшем от головы спящего и символизировавшем его сон, собраны были одиннадцать юношей, пригнувшихся в страхе перед неким почти прозрачным воздушным шаром, к которому устремлен был полет белой голубки и от которого на земле оставалась легкая тень, окутывавшая мертвую птицу. Возле рейтара лежала старая закрытая книга, едва видная при слабом свете от факела, воткнутого в пол подземелья.

В этой необычной зубной мозаике преобладали желтый и коричневый цвета. Остальные, менее часто встречавшиеся тона придавали картине живые и привлекательные нотки. Голубка, составленная из великолепных белых зубов, красовалась в позе быстрого и грациозного порыва вперед. Умело подобранные корни обозначали красное перо, украшавшее темную шляпу, брошенную рядом с книгой, или же простой пурпурный плащ с медной пряжкой из хитроумно расположенных коронок. Из смешанного множества синих зубов были выполнены лазурного цвета штаны, втиснутые в широкие сапоги из черных зубов. Хорошо выделявшиеся на общем фоне каблуки составлены были из зубов цвета лесного ореха, а равномерно расположенные пломбы играли роль гвоздей.

Баба остановилась как раз на левом сапоге.

За пределами картины со всех сторон в полнейшем беспорядке разбросаны были другие зубы, не имевшие никакого живописного вида. Вокруг воображаемой границы, обозначенной по окружности самыми удаленными от центральной части зубами, простиралось пустое пространство, ограниченное шпагатом, привязанным к торчащим на несколько сантиметров из земли тонким колышкам. Мы остановились перед этим неровно натянутым барьером.

Внезапно копер сам собой поднялся в воздух и, пролетев под легким дуновением футов пятнадцать-двадцать, опустился недалеко от нас прямо на потемневший от табака зуб курильщика.

Кантрель махнул нам рукой, перешагнул через шпагат, пересек незанятую полосу и подошел к воздушному аппарату. Мы все двинулись за ним, очень стараясь не сместить разбросанные зубы не сомневаясь, что тот видимый беспорядок, в котором они валялись, был нелегким результатом долгих исканий.

Когда мы подошли ближе, до ушей стало доноситься тиканье от сверкавшей на солнце *бабы*.

Кантрель решил не ждать наших расспросов, а сам принялся показывать разные части аппарата.

На самой верхушке аэростата, в образованном кольцевым вырезом сетки круге находился автоматический алюминиевый клапан с круглым отверстием и крышкой, возле которой виднелся циферблат небольшого хронометра.

Под шаром на толстых вертикальных стропях, служивших нижней частью сетки, полностью изготовленной из тонкого легкого шелка, удерживалась на проде-тых в отверстия буртика концах не гондола, а круглая алюминиевая тарель, похожая на перевернутую крышку, горизонтальное дно которой тонким слоем покрывало какое-то вещество желто-охристого цвета.

К нижней части тарели, в самом ее центре, был прикреплен тонкий алюминиевый же вертикальный цилиндр, служивший корпусом всего предмета.

От верхней части цилиндра отходил вверх и вбок длинный стержень, тоже из алюминия, поднимавшийся выше тарели и оканчивавшийся тремя наконечниками. На конце каждого из них было установлено по довольно большому хронометру с зеркалом позади. Все три циферблата смотрели в разные стороны, тогда как их зеркала устремлены были в одну и ту же находящуюся где-то посередине точку, глядя при этом соответственно примерно на запад, юг и восток. В тот момент первое зеркало было направлено прямо на солнце и отражало его лучи на второе, переправлявшее их на тарель-гондолу, в то время как третье, казалось, не играло никакой роли. Каждое зеркало было связано со своим часовым механизмом четырьмя горизонтальными рейками с мелкими зубцами, вставленными в заднюю крышку хронометра по окружности сверху, снизу, справа и слева. Рейки эти выходили с другой стороны механизма на круглый циферблат по диаметру чуть меньше самого прибора.

Приводимые в движение невидимыми зубчатыми колесами, связанными с механизмом хронометров, рейки могли подаваться на любое доступное им рас-

стояние вперед или назад, изменяя тем самым наклон зеркал. Спереди каждая рейка оканчивалась металлическим шариком, помещенным на две трети в полую обрезанную сферу, укрепленную на задней стороне зеркала. Такой способ крепления позволял зеркалу перемещаться в самых разных направлениях.

Каждый день эта тройная система следовала за ходом солнца от восхода и до заката. С утра зеркало, повернутое к востоку, первым принимало его огненные лучи. После прохода светилом меридиана это зеркало оказывалось в тени, а его роль брало на себя то, что находилось напротив. Трудясь от зари до сумерек, зеркало, обращенное к югу, вступало в действие вторым, направляя в неизменную точку лучистые потоки, непрерывно льющиеся на него с того или другого соседних блестящих дисков.

В средней части установленного наискосок стержня с тройным наконечником был заделан короткий прямой штатив, почти сразу же расходившийся на две изогнутые в виде полуокружности ветви, концы которых смотрели в зенит. Этот полукруг, перпендикулярный идеальной вертикальной плоскости, в которой находился скошенный вбок стержень, частично мог служить оправой для сильной круглой линзы, закрепленной между концами штатива на двух штырьках, вставленных в самые их концы.

Линза помещалась точно на пути светового пучка, отражавшегося от самого дальнего зеркала, и лежала параллельно заливавшим ее лучам.

С внешней стороны внешней части одной из изогнутых ветвей укреплен был малюсенький хронометр, задача которого состояла в том, чтобы поворачивать линзу в строго определенное время, что им и выполнялось благодаря хитроумному соединению его механизма с соседним штырьком.

Устойчивость всей конструкции обеспечивала горизонтальная тяга, оканчивавшаяся, как цирковая штанга, шаром-противовесом; сама же тяга была

ввинчена в алюминиевую стойку как раз с противоположной стороны от линзы и зеркал.

Огромная магнитная стрелка, словно взятая из гигантского компаса, пересекала стойку перпендикулярно ей и на половине ее высоты, выступая на одинаковую длину в ту и другую стороны. Своей магнитной силой она удерживала воздушный аппарат при его полетах всегда и строго в нужном направлении. Ее северный конец находился прямо под зеркалом, обращенным к югу, а южное острие подобным же образом стояло напротив сферического противовеса, хотя и на меньшем удалении.

Стойка покоилась на трех алюминиевых лапках, изогнутых и цельных, напоминавших ножки столика в уменьшенном виде. Каждая из них упиралась в землю, придавая копру достаточную устойчивость. В самом низу изгиба во внешней части ножки виден был циферблат маленького часового механизма, чуть выступавшего за ее пределы.

С внутренней стороны лапок в самой их середине были закреплены три тонких, направленных друг на друга гвоздика, своими остриями слегка вколотых в торец малюсенького диска из синего металла, словно висящего одиноко прямо под осью стойки. В миллиметре кверху от него находился диск такого же размера, но сделанный из металла светло-серого оттенка, подвешенный на вертикальном прутке, верхний конец которого уходил внутрь стойки.

Чуть повыше точки, от которой отходили лапки, на нижнем конце стойки был встроен еще один часовой механизм.

Дав нам достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть *бабу*, Кантрель пошел назад, вся наша группа двинулась за ним, и несколько секунд спустя мы уже вновь стояли у шпагата, вторично перешагнув через него.

Слабый звук удара вскоре привлек наши взгляды к нижней части аппарата. Серый диск между тремя

лапками быстро опустился на своем прутке к нижнему и словно приник к нему. Точно в тот миг, когда оба диска соединились, находившийся под ними коричневый зуб оторвался от земли и, повинувшись какой-то таинственной притягивающей силе, прилип к синему диску снизу. Звук от двух этих движений, казавшихся одновременными, слился в один.

Немного погодя сверкнула линза, которая вдруг резко повернулась на четверть оборота на своей горизонтальной оси и теперь стояла перпендикулярно световому пучку, исходившему по идущей косо вниз линии от зеркала, обращенного к югу. В результате лучи, пересекающие увеличительное стекло, плотно концентрировались на всей поверхности желтого вещества, размазанного на круглой тарели под аэростатом. Некоторые из нижних тонких стропов сетки отбрасывали едва заметную тень полосок на это внезапно возникшее мерцающее полотно. Под влиянием созданного таким образом сильного жара охристое вещество выделяло, очевидно, легкий газ, проникавший в шар через его расширенное книзу отверстие, так как оболочка постепенно надувалась. Подъемная сила оказалась вскоре достаточной, чтобы весь аппарат легко оторвался от земли, а линза в это время совершила еще четверть оборота в том же направлении, после чего желтая смесь потемнела, ибо солнечные лучи перестали освещать ее.

Пока мы стояли за границей из шпагата, ветер изменился и баба была снова отвезена к картине из зубов, однако этот ее второй маршрут шел под довольно широким углом относительно первого, так как инструмент направлялся к более темному месту подземелья, где дремал рейтар.

Внизу же, пока длился полет, одна из ножек вытянулась, подчиняясь усилию штока, выдвинувшегося изнутри на полсантиметра.

Вскоре шар заметно похудел и прибор опустился двумя своими не удлинившимися ножками на кучку темных зубов на одном из берегов подземного озера,

а выдвинувшаяся незадолго перед тем ножка коснулась земли в центре еще не заполненного места. В момент приземления мы увидели, как на верхушке аэростата, выпустив требуемое количество воздуха, бесшумно закрылся клапан с помощью простого алюминиевого диска, который мог уходить из-под отверстия или вновь появляться под ним все в той же плоскости, вращаясь на оси, вставленной в отверстие на его краю. Проведя некоторую аналогию, мы понимали теперь, как совершился первый перелет копра благодаря линзе и клапану, согласованные перемещения которых тогда ускользнули от наших неопытных глаз.

Тем временем серый диск поднялся вверх между тремя ножками и опять на миллиметр отделился от синего. Тотчас же, словно показывая, что магнитная сила пропала, потемневший от никотина зуб, доставленный по воздуху аппаратом, отклеился от синего диска и упал на землю прямо на незаполненное место в мозаике. Цвет вновь прибывшего зуба гармонично сочетался с цветом соседних, и он как бы добавил в картину свой собственный, попавший в нужную точку мазок.

Линза сделала четверть оборота в обычном направлении, и испарения желтоватой субстанции, разогретой светом, начали снова раздувать оболочку шара. Шар поднялся в воздух, линза еще раз повернулась, а шток-удлинитель вернулся в ножку, служившую ему футляром. Ветер не поменялся, и баба продолжила свой путь по прямой до одиноко лежавшего в удалении розового тонкого остроконечного корня, к которому аппарат стал опускаться в результате срабатывания клапана на шаре.

Тут Кантрель принялся объяснять нам, зачем понадобилась эта необычная воздушная машина.

Метр довел до предела возможного искусство предсказания погоды. Следя за множеством чрезвычайно чувствительных и тонких приборов, он мог за десять дней знать направление и силу любого дуновения вет-

ра в том или ином определенном месте, а также, каких размеров, плотности и способности конденсировать влагу будет наименьшее облако, которое должно там появиться.

Желая сильнее подчеркнуть невиданную точность своих приборов, Кантрель задумал аппарат, способный создать эстетической природы произведение благодаря лишь силе солнца и ветра.

Он построил стоявшую перед нами *бабу* и снабдил ее пятью верхними хронометрами, управлявшими всеми ее перемещениями. Самый верхний из них открывал и закрывал клапан, а остальные приводили в движение зеркала и линзу затем, чтобы надуть от солнечного огня аэростат, используя для этого также желтое вещество специального состава, выделявшее под действием любого тепла некое количество водорода. Состав этого вещества придумал сам мэтр, придав ему такие свойства, что оно выделяло летучий газ, только когда линза направляла на него лучи дневного света.

Таким образом, Кантрель обзавелся устройством, которое с помощью лишь более или менее прямых солнечных лучей могло, воспользовавшись задолго предугаданным воздушным потоком, переместиться по точному маршруту.

Метр занялся после этого поисками материала для создания своего произведения. Ему казалось, что только изящная мозаика способна вызвать сложные и повторяющиеся перемещения аппарата. Требовалось, однако, чтобы разноцветные кусочки можно было с помощью какого-нибудь чередующегося магнитного усилия притягивать нижней частью копра, а потом отпускать. В конечном счете Кантрель решил воспользоваться открытием, сделанным им же несколькими годами раньше и приносившим на практике великолепные результаты.

Это была любопытная система, позволявшая удалять зубы без боли и без опасного и вредного применения обезболивающих средств.

В результате долгих опытов Кантрель получил два очень сложных металла, которые при сближении друг с другом мгновенно создавали особую и непреодолимую магнитную силу, действовавшую только на ту часть человеческого зуба, которая состоит из известковой материи.

Один из этих металлов был серый, другой — с синеватым отливом стали. Вырезав из каждого по кружку радиусом в один миллиметр, он закрепил серый на конце слегка скошенной в торце твердой ручки, а по окружности синего кружочка вставил, расположив их симметрично и с одинаковым интервалом, три коротеньких стерженька, другим своим концом упиравшихся в стенку цилиндрика, снабженного тонкой ручкой. Когда возникала необходимость, работая отдельно обеими руками, он вводил цилиндрик в рот пациента, прижимал его толстые и не острые края к двум зубам по обе стороны больного зуба и подводил серый кружочек так, чтобы наложить его на синий. Магнитная сила проявлялась при этом моментально с такой мощностью и резкостью, что больной зуб, подчиняясь ей, покидал насиженное место, не оставляя пациенту времени на то, чтобы ощутить хоть какое-нибудь причиняющее муку движение хирурга. Зуб устремлялся к синему кружочку внутри цилиндра, обладавшего завидной прочностью, так как и сам он, и три стерженька изготовлены были из платины. Когда нужно было удалить нижний зуб, цилиндрик устанавливался в нормальное положение и синий кружочек помещался над зубом. Когда же, напротив, оперировать приходилось на верхней челюсти, цилиндрик и серый кружочек необходимо было перевернуть, хотя в самих действиях от этого ничего не менялось. Если зубов во рту было маловато и рядом с больным зубом не во что было упереть инструмент, мэтр отбирал из огромного количества кубиков из цельной слоновой кости тот, который по своей высоте мог наилучшим образом заменить недостающий зуб. Цилиндрик устанавливался на здоровый зуб, а с другой стороны — на слоновую

кость, и так обеспечивалась требуемая опора. Когда же вокруг больного зуба было пусто, то к нему приставлялись уже два кубика. Если опорные зубы были разной величины, Кантрель пользовался набором квадратиков разной величины, один из которых устанавливался на меньший зуб и в нужный момент служил совершенно ровной опорой цилиндру.

Благодаря особому сочетанию атомов, вызывавших ее действие, магнитная сила прикладывалась только в той точке, которая находилась точно на оси воображаемой трубки безупречной формы и бесконечной длины, проходящей через центр обоих кружков, а диаметр этой трубки был равен диаметру кружков. Таким образом, не было никакого риска, что серый кружок притянет вдруг к себе один из здоровых зубов, тогда как синий воздействовал лишь на часть нужного зуба и никак не затрагивал соседние. Такое четко ограниченное воздействие в сочетании с необыкновенной силой приводило к желаемому результату при полном отсутствии боли в виду быстроты операции. Как только зуб был извлечен и прилипал к синему кружку, Кантрель сразу же отводил от него серый из опасения того, что, как показали его опыты, магнитная сила будет проявлять себя и дальше, невзирая на препятствие, и может случайно повредить здоровые зубы, если вдруг пациент дернется или он сам сделает неточное движение.

О методе его вскоре узнали, и в *Locus Solus* потекли непрерывным потоком посетители, причем все они уходили оттуда весьма довольные тем, как быстро и умело была устранена причина их страданий, а сами они не ощутили при этом никаких неудобств.

Метр складывал в кучу зубы, извлеченные с помощью его искусства, но все никак не мог заняться этой странной коллекцией, откладывая ее уничтожение с одного дня на другой.

После того же, как в голове его возник новый план, он мысленно возблагодарил себя за неторопливость, давшую ему в руки полезный и удобный материал.

Кантрель решил воспользоваться своим запасом зубов для создания мозаики. Разнообразие их оттенков и форм вполне подходило для этого замысла, воплощение которого выгодно дополнялось корнями с более или менее яркой окраской, а также коронками и пломбами с их блестящими отливами.

В нижней части своего копра, между тремя служившими ему опорой ножками мэтр установил два новых диска, подобных тем, что использовались им в ходе операций с зубами пациентов. Однако на этот раз он подобрал для них такой состав металла, чтобы получить гораздо меньшую силу притяжения. Ведь теперь нужно было подбирать просто ссыпанные на землю зубы, а не выдирать их из десен. При прежней силе, перенося свою легкую добычу из одной точки в другую, прибор поднял бы все зубы, оказавшиеся на его пути, и они цеплялись бы друг за друга снизу вверх. Но этого серьезного неудобства удалось избежать, так как новые диски сохранили только размер и цвет первоначальных, сила же их была достаточна лишь для того, чтобы оторвать от земли с близкого расстояния не оказывающий сопротивления зуб. Хронометр, установленный снизу алюминиевой стойки, приводил в действие вертикальную тягу и тем самым вызывал в точно выбранный момент схождение или расхождение обоих дисков, увеличивая или ослабляя силу этого необыкновенного магнита.

Кантрель мог добиться такого же результата, задумай он свою мозаику из разноцветных кусочков жести, которые легко бы переносил и сбрасывал электромагнит при включении и выключении тока. Однако при таком способе пришлось бы обременить летающий копер громоздкой системой аккумуляторов, что на много усложнило бы управление им.

Поэтому мэтр предпочел свой первоначальный замысел, в котором находило применение давнее, являвшееся его законной гордостью открытие. К тому же оно привлекало и своими неожиданными сторонами, ибо задуманная им необычная картина должна была

составляться из деталей, чья форма и цвет определялись исключительно случаем, а не какой бы то ни было волей художника.

Когда *баба* была дополнительно снабжена гигантской магнитной стрелкой, перед Кантрелем встала новая задача. Во время прогулок по различным уголкам будущего произведения аппарат-челнок должен был сохранять строго вертикальное положение. Но чем дальше будет продвигаться работа над мозаикой, тем большей будет опасность, что три ножки нарушат равновесие аппарата, становясь как на опору на уже уложенные зубы. Копер же, наклоняясь, серьезно изменит скрупулезно выверенную ориентацию зеркал с их равномерным перемещением, и тогда аппарат не сможет подняться в воздух.

Чтобы решить этот принявший жизненно важное значение вопрос, Кантрель вырезал в нижней части ножек углубление, приспособил к каждой из них маленький часовой механизм, выдвигавший в нужный момент изнутри шток с закругленным концом, опускавшийся на время вниз.

Когда одна ножка становилась на уложенный в мозаику зуб, две другие заранее удлинялись своими штоками, упиравшимися концами в землю. Когда же на зубы опускались две ножки, третья снова-таки опиралась на свой шток.

Тонкие вспомогательные штоки должны были выдвигаться больше или меньше в зависимости от высоты зубов, сильно отличавшихся друг от друга по толщине. Коренные и молочные, зубы взрослых и детей лежали на земле неровной плоскостью, ибо среди них не было двух одинаковых по размерам. Само по себе это не могло повлиять на конечный результат, так как живописная ценность мозаики не пострадала бы от какой-то там неровности поверхности. Но Кантрелю пришлось бы все время считаться с этими неровностями для настройки часовых механизмов трех штоков. Между коренным зубом мужчины и резцом ребенка, если взять для примера два крайних случая, разница в вы-

соте будет достаточно велика, и в зависимости от того, на какой из них станет одна из ножек, штокам двух остальных придется совершать более или менее длинный выезд из своих гнезд, чтобы коснуться земли. Кроме того, всякий раз, как две ножки будут одновременно нацеливаться на два зуба разной величины, одной из них доведется выдвигать свой шток. Под конец же работы, когда все три ножки во время установки зуба на еще не заполненное место будут опираться на три зуба сразу, будут приходить в действие один или два выдвижных штока, несмотря на полное отсутствие контакта с землей.

Принимая во внимание все эти особенности, разработка трех нижних хронометров, конечно, потребовала бы чрезвычайно большого труда. К счастью, в отношении удлиняющих штоков трудности для мэтра могли возникать только в месте укладки самой мозаики, а не за ее пределами, где, поскольку он не был стеснен в пространстве, можно было разбросать зубы так, чтобы *баба*, подбирая их, становилась на землю естественным образом всеми своими тремя ножками. Поневоле связанный атмосферными потоками, которые он намеревался использовать, Кантрель, по крайней мере, мог выбирать по собственному усмотрению на одной из бесконечных прямых точку приземления после каждого перелета от картины из зубов. Для этого нужно было лишь добиться, чтобы часовой механизм клапана включался раньше или позже. Такой простор для маневра позволял ему избежать, даже в самом начале этого предприятия, какого бы то ни было стеснения на широком поле, которое мало-помалу должно было освобождаться, а потому аппарату при подъеме зубов никогда не пришлось бы удлинять свои ножки.

Размышляя о будущем произведении, Кантрель решил выбрать сюжет, требующий темных красок — по причине коричневых и желтоватых тонов, которые неизбежно должны были преобладать в материале для мозаики. Желательно было изобразить какую-нибудь

живописную сцену на фоне слабо освещенного глубокого грота. Ему припомнилась одна скандинавская легенда, которую Эсайя Тегнер называет *den Rytter* — «Рейтар» в своей «Саге о Фриттьофе». Эта народная поучительная сказка, полностью отвечавшая его замыслу в главных своих событиях, в свое время вдохновила французского фольклориста Файо-Рокенси на полувивший известность перевод.

Году эдак в 1650 богатый норвежский вельможа, герцог Гьортц, безумно влюбился в красавицу Кристель, супругу одного из его вассалов — барона Скалдрупа. Гьортц призвал к себе рейтара Аага — отпетого разбойника, не гнушавшегося никакой работой, лишь бы ему хорошо платили.

Пылкими словами сюзерен поведал ему о неукротимой любви, сжимавшей его сердце, и обещал рейтару озолотить его в тот благословенный день, когда он сможет похитить и доставить к нему — одну и без защиты — ту, чей образ преследовал его даже во снах.

Чтобы не быть узанным Гьортц наденет на себя личину волка, когда наступит час утоления его желаний. Зная, что пожалуется кто на него королю, ему не миновать страшнейшей кары, он хотел сделать так, чтобы у Кристель не было не только доказательств, но и подозрений на его счет.

Ааг двинулся на охоту и устроился неподалеку от поместья барона, поджидая удобный случай.

Однажды вечером, когда он прятался в парке замка, который он ни на миг не упускал из виду, рейтар увидел прогуливавшуюся в одиночестве Кристель, направлявшуюся в его сторону. Улучив момент, он одним прыжком набросился на несчастную молодую женщину, однако не успел помешать ей закричать. Скалдруп услышал этот вопль о помощи, кликнул слуг и смог вовремя настичь похитителя, чтобы вызволить супругу.

По приказу взбешенного барона Аага тут же поволокли в огромную пещеру, тянувшуюся под парком, тайный вход в которую находился в чаще совсем рядом с местом, где было совершено нападение.

Этот давно уже заброшенный тайник сообщался когда-то с подземельями замка на тот случай, если бы защитникам его пришлось спастись от проникших в замок врагов. Там они могли бы надежно укрыться в надежде выбраться под покровом ночи через тайный выход в лесной чаще.

Дойдя до середины пещеры со своими людьми и пленником, Скалдруп приказать воткнуть в землю смолистую ветку, сорванную с дерева и зажженную, когда они спускались под землю.

В пещере, пропитанной зловонными испарениями и влагой от покрытого тиной озерца, царил жуткий мрак.

Оставив рейтара в этом безмолвном логове, которому суждено было стать его могилой, барон вышел тем же путем, а слуги замуровали вход в подземелье громадными глыбами красного камня, ворочать которыми одному человеку было не под силу. Глыбы эти взяты были из почти разрушившихся искусственных каменных горок, стоявших по бокам одной из близлежащих аллей парка. Уже больше полувека подземный ход, ведущий в замок, был завален обрушившейся породой, и ничто не могло спасти осужденного от медленной и жестокой смерти, поджидавшей его вдали от людского ока и рук, способных ему помочь.

После нескольких тщетных попыток сдвинуть красные камни, загромождавшие выход, рейтар отошел и тщательно осмотрел свое просторное узилище, а осмотрев, понял, что никакой надежды вырваться у него нет.

В одном из углов он наткнулся на какую-то старую, во многих местах уже истлевшую книгу — единственный, более или менее ценный экземпляр, оставшийся от жалкой кучи томов, выброшенных туда как на свалку и почти уничтоженных плесенью и крысами.

Он подошел к лучине, рассмотрел книгу и прочел ее название: «Сборник Кэмп Визера, напечатанный для королевы Софии Соренсоном Веделем, 1591 г.».

В надежде отогнать хоть на время осаждавшие его мрачные мысли Ааг улегся на землю, раскрыл наугад книгу и попал на трогательную легенду, озаглавленную «Сказка о водяном шаре».

Жил когда-то под Эйсволдом принц Рольфсен, славившийся широтой души и благородством.

Рольфсен владел несметными богатствами и обожал дочь свою Ульфру, чистое юное создание сказочной добродетели. Кроме нее, у него было еще одиннадцать сыновей, от которых ему, однако, пришлось отречься по причине их вероломства, подлости и жестокости.

По смерти Рольсэсена во владение всем состоянием отца вступила добрая Ульфра, ибо, хоть и была она самой младшей из его детей, именно ее отец сделал своей единственной наследницей.

Вне себя от злости одиннадцать братьев отправились к колдунье Гунвере и стали просить ее уморить Ульфру с помощью какого-нибудь ведьминского зелья.

Колдунья не заставила себя долго упрашивать, но с сожалением призналась, что ее сил не хватит для того, чтобы в одночасье погубить девушку. Она могла лишь превратить ее в голубку на год, а за это время братья легко смогут убить ее, если им удастся разыскать ее в царстве птиц, в котором она укроется на время своего изгнания.

Юноши согласились с предложением Гунверы, и она, прогнусавив какое-то заклинание, сообщила им, что Ульфра только что была превращена в голубку и улетела, им же открылась возможность завладеть ее сокровищами.

Колдунья снабдила их тысячью советов, а еще дала клетку с коноплянкой, которая, когда ее выпустят, должна была привести их, порхая в воздухе, в царство птиц. Наконец она сказала им волшебное слово, чтобы они могли защититься им от смертельной опасности, когда достигнут цели.

Дело в том, что царство птиц охранял страшный дух, выглядевший, как прозрачный водяной шар средних размеров, который преграждал вход в царство мало удачливым охотникам.

Любое живое существо, которого касалась тень диковинного шара, тут же падало замертво. Особенно опасна была встреча с шаром ночью, когда на всегда ясном в тех краях небе луна и звезды излучали достаточно яркий свет, от которого получалась изрядная тень.

Но если громко произнести магическое слово, раскрытое Гунверой, то жидкий шар сразу же улетит далеко прочь.

Братья распрощались с колдуньей, а та посоветовала им не откладывать дело в долгий ящик, ибо если они не лишат Ульфру жизненного начала, то через год она улетит из птичьего царства, снова примет человеческий облик и вернет себе свой трон и богатства, а разорителям ее не достанется ничего.

Прежде всего братья поспешили завладеть отцовскими богатствами, воспользовавшись отсутствием сестры. Забыв, что Гунвера наказывала им поторопиться, они почти целый год вели разгульную жизнь, швыряя золото пригоршнями, наслаждаясь прелестями сегодняшнего дня и не заботясь о будущем.

Лишь за несколько дней до рокового срока они вдруг вспомнили о грозившей им опасности и пустились в путь, следуя за коноплинкой, которая все это время не испытывала недостатка в зерне и воде.

Так, двигаясь вслед за птицей, уверенно порхавшей впереди, они сделали несколько длинных переходов пока не очутились однажды перед дремучим лесом, наполненным шумом крыльев и птичьим щебетом. Коноплинка прервала тут свой полет, показывая братьям, что они достигли птичьего царства.

Был полдень, и солнце ярко сияло в чистом небе. Внезапно братья с ужасом увидели невесть откуда появившийся водяной шар, о котором предупреждала их колдунья. Однако напрасно пытались они вспом-

нить волшебное слово, давно позабытое в бесконечных пирушках.

Шар тем временем приближался, оставляя на земле бледную тень, которая сначала коснулась коноплянки, сморенной усталостью и не имевшей больше сил, чтобы взлететь. Птица замертво свалилась на землю, как от удара молнией, не успев издать ни звука.

И тут началась страшная охота. Юноши, подготавливаемые страхом, кидались из стороны в сторону, стремясь ускользнуть от упорно преследовавшего их воздушного врага. Борьба эта не могла длиться долго — с такой ловкостью жидкий шар летал по воздуху, гоняясь за обреченными, безуспешно стремившимися не дать смертоносной тени накрыть себя.

В этот момент из гущи птичьего царства взмыла вверх голубка и устремилась к поляне, на которой разыгралась трагическая сцена. Поднявшись над шаром, чтобы не очутиться в его тени, голубка погрузила в него свой клюв и выпила до последней капли зловещую летучую воду.

Братья же, поняв, что голубка эта — их сестра Ульфра, с раскаянием преклонили перед ней колени. Голубка покружила немного над ними и дала им понять, что нужно двигаться за ней, что они с покорностью и сделали.

Как только показались родные места, время проклятья истекло и нежная Ульфра вернулась в свой девичий облик. С трогательными словами примирения она протянула руку братьям, чьи мрачные замыслы сумела разгадать.

Прощенные братья зажили с того времени вместе с сестрой, вернувшей себе богатства и окружившей их нежной заботой, хотя при этом им дана была полная свобода.

Чтение сказки позволило Аагу несколько забыться в пещере, где он был заживо погребен бароном Скалдрупом. Чувствуя, что его клонит в сон, он, положив книжку рядом с собой, вытянулся и вскоре уснул.

Под впечатлением прочитанного он не замедлил увидеть во сне одиннадцать братьев из сказки, дрожащих от страха перед водяным шаром, тень которого уже умертвила их проводницу коноплянку. Увидел он и, как вдалеке взлетела белоснежная голубка и устремилась на помощь своим братьям-врагам.

Постепенно голубка принимала все более четкие очертания, и рейтар почувствовал, как она коснулась его. Он открыл глаза и увидел рядом с собой Кристель, сжимавшую ему руку, пытаясь разбудить его.

В нескольких словах молодая женщина рассказала Аагу о том, что произошло после того, как вход в пещеру завалили красными камнями. Вся дрожа от мысли об ужасной смерти, уготованной нападшему на нее мужчине, Кристель взяла в библиотеке замка и унесла в свою спальню старые рукописи с чертежами и описанием древней усадьбы Скалдрупа.

Она надеялась найти в них указание на какой-нибудь потайной ход, достаточно хорошо сохранившийся для того, чтобы она могла в одиночку, не прибегая к чьей бы то ни было помощи, добраться до рейтара. Тщательные поиски увенчались успехом.

Хорошо запомнив каждое слово должного и полного всевозможных деталей описания, она спустилась среди ночи в подвалы замка, а там, поднявшись на цыпочки в нужном месте, нажала на невидимую пружину, спрятанную среди торчащих из темной и неровной стены камней.

Вслед за тем одна из плит пола, удерживаемая четырьмя массивными колоннами, стала вдруг подниматься и остановилась на некоторой высоте, открыв заполненное водой отверстие. Кристель нащупала правее, на том же участке стены, еще одну пружину, нажала ее, и вода стала убывать, обнажая ступени, ведущие в подземный коридор. Молодая женщина сошла по ступенькам вниз и оказалась в темном туннеле, по стенам которого сочились струйки ледяной воды, только что полностью заполнявшей этот проход.

Так она добралась до пещеры рейтара, как раз на обычном уровне озера, вода которого после нажатия второй пружины освободила туннель. Осторожно ступая по внутреннему пологому карнизу, она зашла в саму пещеру, подошла к пленнику и разбудила его от тяжелого сна.

Потрясенный ее рассказом, Ааг был невольно поражен связью, возникшей в последние мгновения его сна между Кристель и белой голубкой, которая, как ему показалось, коснулась его, после чего он освободился от оков сна. И в сказке, и наяву вероломно преследуемая невинность пришла на выручку орудию, ставшему причиной нанесенного ей зла.

Пока он предавался этим размышлениям, Кристель позвала его жестом за собой и по тому же пологому склону снова вошла в туннель, отверстие которого виднелось прямо над озерцом.

Преодолев в молчании туннель, оба они вышли через потайной люк, спрятанный в подземельях замка. Теперь Кристель нажала по очереди в нижней части стены, справа и слева, две другие пружины, расположенные под двумя первыми. При этом сначала вернулась вода, и это значило, что озеро в пещере снова наполнилось до краев, а затем на свое место легла плита, плотно закупорив невидимый узкий проход. Молодая женщина с благодарностью подумала о предусмотрительности, с которой зодчий когда-то устроил этот тайный ход на случай отчаянного бегства даже в те времена, когда пещеру от замка отделяла простая дверь — тогда еще не заваленная, но которую хитрые захватчики вполне могли перекрыть. Мысленно она возвращалась к скрытому механизму, устройство которого разгадала несколько часов назад, когда она изучила старинные книги с чертежами подземелья и подробным их описанием. Озеро пещеры соединялось под землей с озером Мьозен, лежавшим на таком же уровне в трех километрах восточнее. Когда нажимали на вторую пружину и так держали ее, из некой трубы

лилась вода в сосуд, наполняла его и он, опускаясь, действовал как противовес, приводивший в движение сложную систему шатунов и рычагов, чтобы перекрыть проход между пещерой и озером. Одновременно открывался водосток, пробуренный на двухметровой глубине в одной из стенок пещеры, заполненной водой, и тут же вода из озерца частью сливалась в этот колодец. Благодаря такому спаду воды можно было перейти из замка в пещеру. При сильном нажатии на третью пружину приоткрывался запорный механизм отверстия в дне сосуда, вода из него выливалась и он возвращался в первоначальное положение, тогда как шатуны и рычаги снова перекрывали колодец и освобождали проход, через который вода озера Мьозен вновь поступала в пещеру. По такому же принципу наполняемого водой и опорожняемого противовеса действовали первая и четвертая пружины, поднимавшие и опускавшие плиту.

66

Ведя рейтара темными лестницами, Кристель, заранее запасшаяся ключами, отперла дверь на террасу, а затем парковую калитку и наконец вернула своему обидчику полную свободу вместе с прощением.

Вместо того чтобы воспользоваться столь благоприятной возможностью и совершить похищение, которое должно было принести ему целое состояние, Ааг, на которого подействовало раскаяние одиннадцати братьев из прочитанной им легенды, бросился к ногам Кристель, чтобы выразить ей свое раскаяние от содеянного и благодарность.

Мгновение спустя он скрылся во тьме ночи, а молодая женщина тихо прошла к себе.

Остановившись на этом сюжете, благо в нем фигурировала желанная мрачная пещера, Кантрель выбрал в своем парке очень открытое место, отличавшееся частой сменой направления продувавших его воздушных потоков. Такое постоянное изменение ветра могло лишь способствовать активному перемещению взад и вперед *бабы* при создании картины. Он выровнял с

большой точностью весь участок, намеченный им для работы, а затем стал терпеливо ждать наступления периода в двести сорок часов, когда, согласно его прогнозам, после одного из закатов не будет ни дождя, ни непогоды. Задуманное им и в самом деле нельзя было выполнять при сильном ветре, а более или менее густой ливень нарушил бы многие композиции, утяжелил бы оболочку азростата и от него потускнели бы зеркала и линза.

Когда настало время, он вывел на продуваемую ветром площадку воздушный копер и доставил туда же громоздкий ящик с зубами, вырванными им после изобретения двух металлов с необычными магнитными свойствами.

После этого, полагаясь на свой прогноз, он провел всю ночь в неумных трудах, безошибочно сортируя свой зубной материал по разнообразным тонким оттенкам, пользуясь для этого необычным и чудесным светом особого, им же самим недавно изобретенного прожектора, произведшего революцию в мире студий и академий, ибо он позволял художникам работать после появления на небе звезд с такой же уверенностью, что и среди бела дня. Он нарочно выбрал именно вечер для начала отсчета двадцати провидческих оборотов часовой стрелки, чтобы оставить для своих сложных приготовлений долгие часы темноты, когда *баба* вынуждена будет простаивать. Начав же свою работу с рассвета следующего дня, она будет трудиться до заката десятого дня, полностью используя все до минуты светлое время, намеченное его прогнозом.

Бережно расходуя каждое мгновение, он старательно готовил свое будущее произведение, посматривая время от времени на шаблон, выполненный маслом по его указаниям маститым портретистом, положившим столько оттенков, сколько имелось зубов и корней соответствующего цвета. Оставив свободным место будущей мозаики, он сел вокруг него готовые к ее заполнению зубы, которые должен будет подбирать копер во время своих перелетов.

Зубы заранее укладывались на землю так, как им предстояло лечь затем на картину сообразно их форме. Корни здесь же отделялись от верхней части специальной пилой. Одновременно с этим скрупулезным посевом Кантрель регулировал с точностью до тысячной доли секунды будущие тончайшие детали некоего дополнительного механизма и моторчика, которым он снабдил каждый из девяти хронометров, а те, когда их заведут, должны были идти в течение двухсот тридцати трех полных часов, что было даже несколько больше, если учесть положение солнца в этот период года, чем время, которое должно было длиться все это приключение от первого рассвета и до последнего заката.

Когда в точно рассчитанную долю секунды подует в точно известном направлении ветерок, линза, движимая своим собственным часовым механизмом, направит пучок солнечных лучей на желтое вещество и задержится в этом положении более или менее надолго в зависимости от прозрачности атмосферы и излучаемого светилom тепла, пропорционально дуге его движения и, главное, в зависимости от относительной плотности того или иного облачка и времени, в течение которого оно будет закрывать пылающий солнечный диск. Трудясь над линзой, мэтру пришлось учесть и влияние тонких линий тени, лежащих на желтую массу от шелковых нитей сетки.

Немалого тщания требовала хронометрическая настройка клапана. Резкие порывы ветра могли отнести копер в те моменты, когда он не работал, и на этот случай нужно было время от времени выпускать воздух из азростата, невзирая на его воздушные странствия, с единственной целью утяжелить все устройство и сделать его тем самым более устойчивым. Но эта мера прямо влияла на работу линзы, которой нужно было впоследствии дольше освещать желтую смесь, дабы восполнить потери воздуха в оболочке.

Что касается нижней части, то задачу, выполняемую двумя дисками, служившими для захвата и сбрасывания зубов, решить было легче. И напротив, на-

стройка трех хронометров, управляющих внутренними удличителями ножек, вынудила Кантреля заняться труднейшими расчетами. С зеркалами дело обстояло яснее: их идеально равномерное движение имело целью только точно следовать за солнцем. Общее направление зеркал должно было немного меняться каждый день по причине ежедневных изменений, привносимых в видимый путь светила наклоном плоскости экватора к плоскости эклиптики.

Аппарат должен был оставаться совершенно неподвижным от захода солнца и до рассвета, причем к нему нельзя было даже прикасаться, ибо хронометры будут настроены с начала и вплоть до самого последнего дня. Их циферблаты, специально оставленные на виду, позволят знать в любой момент, все ли они показывают одинаковое и точное время, что достигалось отсутствием малейших нарушений их хода.

Кантрель закончил приготовления с первыми петухами и наполнил аэростат запасенным заранее, без применения желтой массы, нужным количеством водорода. Пользуясь всеми возможными капризами ветра, копёр должен был закончить мозаику под вечер десятого дня. К этому времени будет точно, но в большем размере, воспроизведен написанный маслом шаблон, за исключением четырех тонких внешних каемок, обрамлявших модель, хотя их ничего не значащее отсутствие, ставшее предметом сознательного выбора, остановленного именно на этих местах, никак не вредило картине в целом. Оказавшиеся ненужными зубы, предназначавшиеся первоначально для внешней рамки картины, были выброшены на свалку. Кантрель, ранее уже объявивший публично о своих планах, открыл ворота своего имения, чтобы посетители могли в любое время наблюдать за воздушными прогулками аппарата и подтвердить отсутствие какого бы то ни было обмана. Вокруг привлекавшего внимание места на низких колышках была натянута веревка, удерживавшая любопытных на достаточном расстоянии, чтобы не создавать сколь-нибудь серьезных пре-

пятствий дуновениям ветра. Наконец *бабу* установили над одним из глазных зубов в ожидании того момента, когда можно будет воспользоваться в полном смысле слова первым благоприятным ветерком.

Теперь же дело близилось к завершению, так как шел уже восьмой день работы, и до сего времени движущийся аппарат благодаря прекрасно настроенным часовым механизмам переносил все зубы и корни на нужное место. Иногда в силу постоянной изменчивости ветра перелеты совершались довольно быстро, но часто также ветер дул, казалось, бесконечно в одну и ту же сторону, и тогда прибор часами ждал возможности снова взлететь. Время от времени небольшими группами появлялись иностранцы. Пока Кантрель говорил, несколько человек тихонько подошли посмотреть, как отправится в очередную ходку аэростат.

Метр почти заканчивал свою импровизированную лекцию, когда уже знакомый сухой щелчок привлек наше внимание к ножкам *бабы*. Под действием штока, перемещаемого дополнительным часовым механизмом, встроенным в нижнюю часть стойки, серый диск опустился и приник к синему, а к нему снизу прилип резко поднятый магнитной силой корень зуба, служивший целью аппарата.

Как положено, повернулась линза, чтобы пополнить воздухом оболочку, затем сделала следующий поворот, и копер поднялся в воздух, унося с собой корень.

Чуть заметный ветерок повлек *бабу* к перу, украшавшему шляпу рейтара; в нужный миг сработал клапан, и аппарат пошел к земле, диски расцепились, отпустив свою легкую жертву, завершившую бледно-розовый рисунок, добавив последнюю точку в кончик пера, чье среднее ребро было выполнено из кроваво-красных корней. Ножки аппарата опустились на три кораллового цвета корня одинаковой высоты, и выпускать ни один из удлинителей им не потребовалось.

Почти тотчас же линза выполнила свой поворот, создающий подъемную силу аэростата, и вернулась на

место. Движения свои она совершала неизменно по направлению часовых стрелок.

Копер пролетел по той же прямой и опустился благодаря клапану над прекрасным клыком белее жемчуга, украшавшим еще не так давно, по словам Кантреля, ослепительную улыбку одной очаровательной американки.

В момент возникновения магнитной силы от сближения двух кружков металла легкое облако закрыло собой весь солнечный диск и вызвало различные пертурбации в слоях воздуха, где возникли новые потоки. Линза немедленно перешла в рабочее положение.

Появление облачной завесы было с самого начала предусмотрено Кантрелем, и он соответственно отрегулировал механизм нужного хронометра. Поэтому напряженное состояние собирающего лучи стекла длилось гораздо дольше, чем два предыдущих раза, когда пылающее солнце не закрывали никакие облачка и для порождения обильной порции водорода хватило нескольких секунд.

По завершении операции облегченная *баба* бесшумно взлетела и, влекомая сильным порывом ветра, нацелилась на голубку из сна, заполнив кончик одного из ее крыльев белым клыком, уложенным точно в предназначенное ему место. На этот раз, подчиняясь своему часовому механизму, внутренний шток одной из ножек при приземлении вытянулся далеко вперед и опустил свое безобидное острие на землю, сохранив таким образом равновесие всего устройства, тогда как две другие ножки оперлись о два зуба одинаковой высоты.

Тем временем аэростат освободился с помощью клапана от лишнего газа, затем был снова наполнен им после продолжительной работы линзы, поднялся в воздух, и, пока шток-удлинитель втягивался в свою ножку, аппарат направился по прежней линии в дальний конец площадки и выудил там голубой зуб весьма правильной формы, похожий на тот, который, судя по хроникам Второй империи, неприятно выделялся в

великолепном жевательном аппарате графини Кастильоне, будучи единственным и оригинальным изъяном этой несравненной красоты.

В этот миг облачко быстро соскользнуло с солнца, вернув ему всю его мощь. С выходом светила из тени прекратились и воздушные потоки противоположного направления, возникшие во время этого краткого затмения, и ветерок задул примерно в ту же сторону, что и до этого. Линзе не пришлось долго работать, чтобы кочующая машина вновь взлетела и грациозным прыжком переместилась к штанам рейтара, а там резкое открытие клапана принудило ее приземлиться.

На земле ножки аппарата ждали три точки опоры весьма разной высоты: сама земля и два заморских зуба неодинаковой величины, но еще заранее под действием своих часовых механизмов два штока выдвинулись на нужную длину так, что самый длинный из них уперся в землю, а второй — в меньший зуб.

Новая добавка цвета индиго упала там, где надо, и быстро надувшийся аэростат продолжил полет по прямой линии до черного огромного и уродливого коренного зуба, на который и опустилась *баба*, мягко коснувшись своими ножками земли вокруг него и не прибегая к помощи удлинителей.

Тут Кантрель объявил нам, что, по его подсчетам, следующего автоматического перелета аппарата ждать придется бесконечно долго, и предложил не торопясь последовать за ним к другому участку громадного парка.

Глава третья

Метр направился в сторону гигантского, похожего на алмаз камня, возвышавшегося в конце террасы и уже не раз успевшего обратить на себя наше внимание своим необычным блеском.

Размером два на три метра чудовищная драгоценность, обточенная в форме эллипса, отбрасывала под лучами солнца почти непереносимые глазом огненные

отблески, отходившие от нее во все стороны, подобно нескольким коронам. Прочно укрепленный в искусственной каменной глыбе небольшой высоты, в которую было заделано его относительно малое основание, камень был огранен, как настоящий драгоценный алмаз, и, казалось, содержал внутри различные подвижные предметы. По мере того как мы постепенно приближались к нему, слышалась неясная музыка, производившая чудесное впечатление мелодии, составленной из непривычной череды рулад, переливов, гамм, игравшихся в обе стороны.

На самом же деле, как в этом легко можно было убедиться вблизи, «алмаз» представлял собой всего лишь огромный сосуд, наполненный водой. Не приходилось сомневаться, однако, что в состав жидкости входили какие-то особые элементы, так как лучи исходили именно из нее, а не от стеклянных граней, проницаемых ими повсеместно.

Стоило приблизить глаза к любой грани, как взгляд охватывал все внутреннее пространство сосуда.

В сосуде находилась прелестная стройная молодая женщина в купальнике телесного цвета, стоявшая на самом дне и полностью погруженная в воду. Она совершала грациозные телодвижения, плавно покачивая головой.

На устах ее играла нежная улыбка, и она свободно дышала в окружавшей ее со всех сторон жидкой стихии. Прекрасные светлые волосы свободно колыхались над ней, но не доходили до поверхности. При малейшем движении каждый волос, как бы помещенный в тонкую оболочку, вибрировал при прохождении волн, и образованные таким образом струны издавали более или менее высокий звук в зависимости от длины волоса. Так рождалась завораживающая музыка, которую слышно было при приближении к «алмазу». Умело изменяя силу и быстроту движений шеи и головы, молодая женщина увеличивала или уменьшала громкость производимых ею музыкальных звуков. Гаммы, трели, рулады, мелодично поднимавшиеся вверх или опус-

кавшиея вниз, покрывали не меньше трех октав. Часто музыкантша совершала лишь слабое движение головой, и диапазон звуков при этом оставался весьма сокращенным. Но затем она принималась раскачивать нижнюю часть тела, от чего торс ее начинал ходить из стороны в сторону, и этот странный инструмент обретал всю свою мощь и гибкость.

Такое таинственное сопровождение прекрасно гармонировало с пластичными позами молодой женщины, походившей на волнующую воображение русалку. Исходившие от нее звуки отличались необычным наполнением благодаря жидкой среде, в которой они распространялись.

Время от времени рядом с ней в огромном резервуаре живо проплывало странное животное — наверняка земного происхождения, о чем свидетельствовали четыре лапы с когтями. С толку сбивала розовая шкура, начисто лишенная шерсти. Впрочем, о породе недвусмысленно говорили его глаза, которые могли принадлежать только кошке.

В правой части сосуда на полуметровой глубине на леске плавал довольно бесформенного вида предмет. Похож он был на внутреннюю часть человеческого лица, без малейшего намека на кости, мясистую массу и кожный покров. Под нетронутым мозгом виднелись расходившиеся во все стороны нити мышц и нервов. Благодаря тонкому, почти невидимому каркасу предмет сохранял свои первоначальные очертания, и по рисунку того или иного сплетения можно было ясно определить место щек, рта или глаз. Каждое волокно помещалась в водную оболочку, чуть толще той, что окружала волосы русалки. Леска, на которой все это держалось, была прикреплена тремя отходившими от нее концами к трем точкам по окружности каркаса, прямо под мозгом.

Еще правее в сосуде виднелся маленькая труба, неподвижно державшаяся в вертикальном положении в толще воды.

На дне обширного резервуара лежал длинный металлический рожек с заостренным концом и многочисленными отверстиями.

Кантрель подвел нас к левой части «алмаза», и сквозь его грани мы увидели совсем близко от нас маленьких человечков, державшихся поодиночке, парами или группами и, подобно подводным поплавкам, поднимавшихся вертикально вверх, затем, не дойдя до поверхности, снова опускавшихся ко дну для короткого отдыха перед следующим подъемом.

Метр указал на две соединенные вместе фигурки и стал рассказывать:

— Атлет Вирлас, ловящий большую птицу, выученную с преступным умыслом задушить Александра Великого.

Сцена, на которую нам указали, изображала настоящую драму. На роскошной восточной постели безмятежно спал человек, не осознававший разygравшейся вокруг него трагедии. К стене у изголовья был прибит золотой шнурок, завязанный удавкой на его шее, а другим концом надетый на лапу гигантской зеленой птицы, с каждым взмахом крыльев которой смертельный узел все сильнее затягивался на шее жертвы. Птицу-убийцу пытался решительно схватить обеими руками человек с фигурой атлета, выступавший в роли спасителя, птицу же неким таинственным способом в пространстве удерживал все тот же шнурок.

Человек и птица быстро поднимались. Когда они уже почти достигли поверхности, большой пузырь воздуха вылетел вдруг из отверстия, видневшегося в верхней части стены, к которой был прибит золотой шнурок. При проходе пузыря, очевидно, включился внутренний механизм, результатом чего стали новые действия. От взмаха крыльями птица двинулась вверх, удавка стала затягиваться на шее спящего, но сама птица оказалась во власти атлета, руки которого уже

готовы были ее схватить. Взлет птицы стал следствием, а не причиной действия шнурка, который при загибании несколько удлинил конец, на котором держалась птица.

После выхода воздушного пузыря начался спуск, и в это же время руки атлета стали расходиться, узел ослаб и шнурок потянул птицу в ее первоначальное положение. Достигнув дна сосуда, пара какое-то время не двигалась, а затем снова подалась вверх до той же высоты, где опять повторились уже виденные нами жесты до нового всплытия воздушного пузыря.

— Пилат, терпящий муки от огненного клейма на лбу, — пояснил Кантрель, указывая на еще одну всплывающую вертикально фигурку.

Пилат стоял с поднятыми к искаженному болью лицу руками. В полузакрытых глазах его читались страдание и страх. В верхней точке' подъема из отверстия в его темени вырвался (воздушный пузырь, и в то же время на лбу его* возникло световое пятно от электрической лампочки, вмонтированной в голову. Пятно, составленное из огненных линий, представляло собой, собственно, картину, изображавшую агонию Христа. Кантрель показал нам, что у подножия креста благоговейно стояли на коленях Богородица с одной стороны и Мария Магдалина с другой, а края их платьев проречивали на каждом веке Пилата огненную полосу.

Затем фигурка стала медленно опускаться, световая картина погасла, чтобы загореться вновь при следующем подъеме.

Кантрель ткнул пальцем в новую фигурку и назвал ее:

— Жильбер на развалинах Баальбека со знаменитым нечетным систром великого поэта Миссира.

С выражением безумной радости на лице Жильбер стоял на куче камней, принадлежавшей к очень древним руинам. В правой руке он гордо держал пятико-

нечный сistr, а раскрытый рот его свидетельствовал о том, что он декламирует какие-то поэтические строки.

Когда эта фигурка достигла предела своего подъема, из правого плеча ее вылетел пузырь, в результате чего поднятая рука стала весело размахивать сistrом, как если бы его нужно было заставить вибрировать.

— Карлик Пиццигини спрятанным в постели ножом тайком наносит себе раны, чтобы следящим за ним трем соглядатаям ежегодно появляющийся у него кровавый пот казался более обильным.

Это пояснение Кантреля относилось к группе фигурок, застывших на дне вместительного сосуда. В центре композиции в подобии колыбели, соответствующей его росту, лежало некое существо с лицом недоноска, закутанное в простыни до подбородка. Хитро прищуренные глаза его обращены были на трех соглядатаев, внимательно ожидавших появления чего-то. Вскоре вся группа легко взмыла вверх, и в нужный момент от резкого толчка, исходившего из верхнего угла подушки, через отверстие, которого до сих пор не было видно, вылетел большой воздушный пузырь, что привело к поразительному результату. На уродливой мордочке недоноска заискрились мелкие капельки кровавого пота, и одновременно простыни окрасились огромными красными пятнами, очевидно, вызванными сильным кровотечением. Где сильнее, а где слабее — алая окраска всюду появлялась от выпускавшегося из массы микроскопических дырочек порошка. Пока четверка незнакомцев опускалась на прежнее место, алый порошок полностью растворился и в воде не осталось и следа краски.

— Атлант, освободившийся на мгновение от тяжести небосвода, бьет его со злостью ногой и попадает в созвездие Козерога.

Новая фигурка, представленная нам Кантрелем, подверглась нашему внимательному исследованию на подъеме к поверхности. Стоявший к нам спиной Ат-

лант согнул ногу в колене так, что видна была подошва, и повернул голову, обратив сердитый взгляд на упавшую позади него сверкающую сферу, усеянную множеством звездочек, сделанных из бриллиантов и связанных между собой едва заметной сеткой серебряных нитей, благодаря чему образовались настоящие космографические фигуры. Когда он достиг верхних слоев воды, из его макушки вышел пузырь воздуха в несколько кубических сантиметров и Атлант резко ударил пяткой в Козерога, сместив тем самым несколько звезд и исправив незначительную и единственную ошибку в изображении созвездий. При повторном погружении нога Атланта заняла прежнее место и ошибка на небесной карте снова открылась глазу.

Показав на следовавшую за Атлантом в его погружении тройцу, Кантрель продолжил:

— Вольтер, усомнившийся на миг в своем атеистическом учении при виде восторженно молящейся девушки.

Крепко держа за руку спутника по прогулке, стоящий боком Вольтер с тревогой взирал на совсем юную девушку, пылко молившуюся на коленях в нескольких шагах от него. Постояв некоторое время на твердой почве, легкая группа снова легко устремилась вверх. В самом верху этот необычный взлет был прерван латинским словом *Dubito* — «Сомневаюсь», слетевшим с уст Вольтера в виде множества пузырьков, выстроившихся в четко различимые буквы.

— Предсказание колдуна пятидесятичному Рихарду Вагнеру, спящему на руках у матери, — объявил мэтр, переходя к последнему произведению подводного искусства.

Женщина с лежащим у нее на левой руке ребенком протянула перст правой руки в сторону похожего на ярмарочного фокусника старика, показывавшего ей на столик, где, помимо чернильного прибора с раскрытой чернильницей, стоял кубок с плоским донцем,

наполненный ровным слоем серого порошка, напоминавшего обычные железные опилки. На этот раз из чернильницы вырвалась плотная воздушная масса, от чего кисть женщины согнулась и ее указательный палец трижды коротко щелкнул по краю кубка. На порошке образовались бороздки, становившиеся при каждом ударе все отчетливее и превратившиеся в конце концов в странные, но достаточно разборчивые слова: «Будет ограблен», относившиеся, как легко догадаться, к будущему автору «Парсифаля». Во время спуска группы ко дну сосуда порошок разгладился и теперь стало ясно, что требуемый эффект был получен благодаря заранее приготовленным щелям в виде букв, выпустившим из себя опилки после соответствующего механического на них воздействия.

Все семь подводных скульптурных группок разрозненно совершали свои постоянные подъемы и спуски по вертикали, находясь в каждый момент на разной высоте.

Завершив показ группок-поплавок, Кантрель отвел нас немного назад и жестом пригласил посмотреть на верхнюю часть сосуда. Загнутые внутрь горизонтальные края его, придававшие сосуду законченный вид гигантской геммы, обрамляли центральное отверстие круглой формы, возле которого стояли рядом бутылка белого вина с надписью «Сотерн» на этикетке и банка, в которой плавали семь морских коньков. Грудь каждого из них точно посередине самой выступающей ее части пронизывала длинная нить, свисающие концы которой соединялись в миниатюрном металлическом футлярьчике. Каждая из образованных таким образом ранок имела свою собственную окраску, близкую к одному из цветов радуги. Возле банки лежал сачок.

Кантрель извлек из кармана и осторожно открыл бонбоньерку с лежавшими в ней несколькими пилюлями ярко красного цвета. Взяв одну из них, он слегка

разбежался и ловко вбросил ее в отверстие огромного «алмаза». Подойдя снова к его граням, мы увидели, как легкая алая пилюля упала в воду и стала медленно опускаться ко дну, когда вдруг ее на лету схватил и проглотил зверь с розовой голой кожей, которого Кантрель представил нам под именем Хонг-дек-лен как настоящего кота, совершенно лишенного шерсти. «Слюдяная вода», как называл мэтр искрившуюся перед нашими взорами воду, обогащалась с помощью специальных устройств кислородом и обладала благодаря этому различными исключительными свойствами, позволяя, в частности, абсолютно земным существам легко и свободно дышать в толще воды. Вот почему женщина с музыкальными волосами, а это была, как мы узнали от Кантреля, танцовщица Фаустина, спокойно, точно так же, как и кот, переносила длительное пребывание в воде.

Направив движением головы все взгляды вправо, Кантрель привлек наше внимание к человеческой голове, состоявшей только из мозгового вещества, мышц и нервов, и заявил, что это — все, что осталось от головы Дантона, оказавшейся в его собственности в результате сложных комбинаций. Образованные от слюдяной воды оболочки покрывали ткани по всей их длине и сильно электризовали всю голову. Кстати говоря, точно такие же оболочки на волосах Фаустины вызывали мелодичные звуковые колебания, сопровождавшие в данный момент рассказ Кантреля.

Мэтр умолк и подал знак Хонг-дек-лену. Кот погрузился на дно и сунул морду по уши в металлический рожок, касавшийся концом стенки сосуда. Нахлобучив таким образом на себя этот блестящий намордник, отверстия в котором позволяли видеть все вокруг, кот поплыл к голове Дантона.

Кантрель объяснил нам, что под действием специального химического состава красная таблетка, проглоченная только что на наших глазах, мгновенно превратила все тело кота в живую чрезвычайно мощную батарею и ее электрическая сила, сконцентрированная

в рожке, готова был проявиться при малейшем контакте конца рожка с токопроводящим веществом. Искусно выдрессированный кот умел легонько касаться головы Дантона заостренной частью своей странной маски. При касании через уже наэлектризованные своей водянистой оболочкой мышцы и нервы проходил сильный разряд, от которого они вели себя как под мнемоническим воздействием привычных когда-то рефлексов.

Подплыв к голове, кот мягко прикоснулся концом металлического конуса к плававшему перед ним мозгу, от чего ткани сразу же пришли в диковинное движение. Можно было подумать, что в бывшие мгновение назад неподвижными остатки лица снова вселилась жизнь. Одни мышцы, казалось, двигали во все стороны несуществующие глаза, другие — периодически вздрагивали как бы для того, чтобы поднять, опустить, сжать или расслабить надбровья и кожу на лбу; с особой беспорядочностью двигались мышцы губ, что наверняка объяснялось чудесными ораторскими способностями, которыми в свое время обладал Дантон. Хонг-дек-лен движениями лап удерживался у головы, не закрывая ее от нас, хотя время от времени невольно отрывал рожок от мозговой оболочки, но тут же снова подплывал к голове. В такие перерывы дрожание лица прекращалось, чтобы возобновиться, как только ток снова проходил по голове. Кот же при этом действовал с такой мягкостью и осторожностью в прикосновениях, что даже когда он отплывал, голова лишь едва-едва и совсем недолго покачивалась на конце лески, прикрепленной к прозрачному куполу огромной геммы посредством обычной резиновой груши.

Кантрель, уже научившийся за время предыдущих наблюдений понимать движения мышц рта, переводил нам, по мере того как они возникали, фразы, слетающие с того, что осталось от уст великого оратора. Это были бессвязные обрывки речей, отмеченных бурным патриотизмом. Пламенные призывы, произносившиеся когда-то перед толпой, всплывали теперь беспоря-

дочно из ячеек памяти и автоматически воспроизводились нижней частью останков лица. Выдаваемое также множественными реминисценциями, посылавшимися из глубины ушедших в прошлое времен всплесками памяти о знаменательных мгновениях его активной парламентской деятельности, резкое подергивание остатков мышц лица показывало, насколько уродливая физиономия Дантона становилась выразительной на трибуне.

По команде Кантреля кот отплыл от головы, и она сразу же вернулась в состояние инертной массы, а затем передними лапами стянул с себя рожок, который тут же лениво опустился на дно.

Приказав нам не двигаться, Кантрель обошел грандиозный «алмаз» и по ажурной металлической стремянке с обилием никелированных деталей, представленной к противоположной стороне сосуда, поднялся над его круглым отверстием.

Взяв в руки сачок, он стал по одному вылавливать морских коньков из банки и опускать их в слюдяную воду, где началось неожиданное действие. На груди каждого конька, справа и слева, виднелись искусственного происхождения разрезы, раскрывавшиеся время от времени от действия некой внутренней силы и выпускавшие при этом воздушный пузырек, а затем как бы снова склеивавшиеся. Поначалу все это происходило медленно, но вскоре пузырьки стали вылетать с необыкновенной быстротой. Как объяснил Кантрель, морские коньки не могли бы жить в огромном «алмазе», не будь у них этих двойных щелей, через которые выбрасывался избыток кислорода, поступавшего в них из пенящейся воды, насыщенной им для нормального дыхания земных существ.

Левый бок каждого из иглообразных был покрыт тонким слоем воска одинакового с ними цвета.

Кантрель тем временем откупорил бутылку с сотерном и принялся лить из нее вино тонкой струйкой в сосуд. К нашему удивлению, вино не смешивалось со слюдяной водой, а тут же затвердевало, превращаясь

в желтые комки, похожие своим великолепным блеском на куски солнца, величественно опадавшие ко дну. При виде происходящего морские коньки быстро сбились в тесный кружок и плоскими боками своего тела подхватывали падавшие мимо них пылающие куски и смешивали их в единую массу. Кантрель все ниже наклонял горлышко бутылки, направляя новые порции материала к внимательно ожидавшему его и не упустившему ни капли стаду.

Наконец, решив, что выделенная доза достаточна, строгий виночерпий быстро закупорил бутылку и водрузил ее на прежнее место у банки.

В результате такого длительного разминания морские коньки вылепили сверкающий желтый шар радиусом не больше трех сантиметров. Они продолжали ловко и усердно крутить его во все стороны, касаясь только своими покрытыми воском боками, в стремлении придать ему безупречную форму.

В конце концов они получили желаемое: идеальный и однородный шар без единого следа соединения комков. Затем они все вдруг резко отпрянули от шара и выстроились в ряд, причем в таком порядке своих ранок, чтобы образовалась правильная радуга.

Шар медленно опускался позади них. Достигнув глубины, отмеченной двойным концом нити, шедшей от каждой ранки, он, как магнитом, притянул к себе семь футлярчиков, висевших на концах нитей. Получилась своеобразная упряжь, вожжи которой натянулись по горизонтали благодаря весу магнитного шара, остановившегося при этом общем порыве коньков.

С наших уст слетел возглас изумления: перед нами предстала колесница Аполлона — желтый полупрозрачный шар, помещенный в сверкающую слюдяную воду, окаймляли ослепительные лучи, придававшие ему вид дневного светила.

На поверхности воды беспрестанно лопались бесчисленные пузырьки, вылетающие из груди скакунов, которые вскоре обогнули погруженную на постоянную глубину трубку. От натяжения нитей только доньшко

металлических футлярчиков соприкасалось с солнечным шаром, словно нехотя двигавшимся по правильной формы дуге. Упряжка свернула влево, закрыв от нас Дантона, а потом Фаустину, проехала мимо царства группок-поплавок, повернула направо и прошествовала перед нами.

Кантрель объявил скачки и предложил нам выбирать себе лошадок, а затем сообщил, что клички морским конькам, расположившимся ближе или дальше от воображаемой ленточки, для простоты он будет давать латинскими цифрами, начиная от фиолетовой ранки, принадлежащей «Первому» оказавшемуся на самой выгодной позиции. Каждый из нас громко назвал имя своего избранника и сделал бескорыстную ставку.

В тот момент, когда выстроившееся в ровный ряд бродячее племя достигло трубки, Кантрель, заранее установивший дистанцию скачек в три полных круга, подал рукой властный сигнал, прекрасно понятый умными существами, которые сильнее заработали своими тремя плавниками на груди и спине, чтобы прибавить скорости в беге.

После красиво пройденного виража соперники резво понеслись влево. Впереди мчался «Третий», по пятам преследуемый «Шестым», «Первым» и «Пятым». Несмотря на нарушенный строгий первоначальный порядок шеренги, обладавшие определенной упругостью ленточки оставались абсолютно все в натянутом состоянии, благодаря чему шар не удалялся, не приближался и ни капли не дергался.

Фаустина по-прежнему мелодично раскачивала свои волосы, ставшие как бы оркестром, сопровождавшим бег коней из мифа.

Упряжка проскакала вокруг Пилата, у которого только что осветился лоб, и промчалась перед нами уже с «Четвертым» во главе.

После того как с ходу была обойдена трубка, участники бегов закрыли от нас недвижимого Дантона, а

бурно рвавшийся вперед «Седьмой» опередил «Четвертого».

Коньки прошли место скопления фигурок почти вплотную к нему, и солнечный шар слегка коснулся небосвода, когда Атлант наносил по нему очередной удар ногой.

«Седьмого» приветствовали бурные возгласы поставивших на него болельщиков, и он не уступил своего преимущества, огибая трубку.

Семеро грудей выпускали из себя массу воздушных жемчужин, показывавших своим числом, до какой степени напряжение бега участило их дыхание. Некоторые пузырьки смешались, когда коньки проходили рядом с фигурками, с очередным «Сомневаюсь», следившим с уст Вольтера.

Кантрель слез со стремянки и, присоединившись к нам, занял место справа, перед особой гранью, посередине которой был нарисован черный кружок. Он отступил на три шага и примерился так, чтобы четко видеть в затемненном кружке трубку, служившую теперь финишной вехой.

Выйдя на финальную прямую, коньки, словно почувствовав близость развязки, утроили усилия, и вперед окончательно вырвался «Второй» под аплодисменты тех, кто верил в его успех. Кантрель объявил его победителем и подал сигнал об окончании скачек, от которого быстрый бег покорных его голосу коньков сменился неторопливым шагом.

Остававшийся во все время увлекательных бегов в стороне Хонг-дек-лен, как только восстановилось спокойствие, стал гоняться, словно за мячом, за сверкающим солнечным шаром, без конца подгоняя его грациозными ударами лап и ведя себя, как шаловливый и уверенный в себе игрок.

Пока взгляд наш переходил от Фаустины на фигурки, от играющего кота на морских коньков, Кантрель рассказывал нам об «алмазе» и его содержанием.

Кантрель смог приготовить воду такого состава, в которой благодаря особому способу подачи в нее очень большого количества кислорода, включаемой в нужные часы, любое земное существо, будь то человек или животное, могло жить полностью погруженным в воду, не прекращая дыхания. Мэтр решил соорудить огромный стеклянный сосуд для наблюдения за некоторыми задуманными им опытами, позволявшими выявить разные свойства необычной жидкости.

Самая поразительная особенность воды заключалась прежде всего в ее чудесном блеске. Мельчайшие капельки ослепительно сверкали, и даже в темноте она светилась, казалось, своим собственным внутренним огнем. Стремясь подчеркнуть это редкое качество, Кантрель придал сосуду характерную граненую форму, и, когда его наполнили искристой жидкостью, он стал походить на гигантский «алмаз». Сверкающий сосуд установили в самом солнечном месте усадьбы, поместив его узкое основание почти на уровне земли в искусственный камень. Стоило солнцу осветить сосуд, как он начинал источать почти нестерпимый для глаз свет. При необходимости специальная металлическая крышка закрывала круглое отверстие сверху колоссального сосуда, чтобы не допустить перемешивания дождевой воды с драгоценной жидкостью, названной Кантрелем «слюдяной водой».

На роль русалки мэтру необходимо было выбрать очаровательную и грациозную женщину, и он пригласил письмом с подробными инструкциями стройную танцовщицу Фаустину, славившуюся красотой тела и изяществом движений. В купальнике телесного цвета и с распущенными, как того требовала ее роль, прекрасными пышными светлыми волосами Фаустина поднялась по тонкой стремянке из никелированного металла, приставленной к «алмазу», и сошла с нее в излучающую свет воду.

Как ни подбадривал ее Кантрель, самолично совершивший не одно погружение для проверки возможности дышать под водой благодаря особому на-

сыщению ее кислородом, Фаустина опускалась с опаской, цепляясь обеими руками за верхние края сосуда и никак не решаясь погрузиться в воду целиком. Наконец после нескольких, длившихся каждый раз все дольше погружений она совершенно успокоилась, решилась и плавно опустилась на дно сосуда.

Ее густые волосы тихонько извивались, поднимаясь кверху, пока сама она принимала красивые позы, пользуясь легкостью, обретенной ее грациозным телом в воде. Постепенно ею овладело веселое опьянение, вызванное слишком большим потреблением кислорода. Чуть позже от ее волос стал исходить неясный звук, возраставший или затихавший в зависимости от того, как быстро она качала головой. Странная музыка становилась все более определенной и сильной. Каждый волос звучал как струна музыкального инструмента, и при малейшем жесте Фаустины все волосы вместе, подобно некоей Эоловой арфе, рождали длинные и необыкновенно разнообразные трели. Шелковистые светлые нити разной длины издавали разные по высоте ноты, диапазон которых превышал три октавы.

Полчаса спустя Кантрель поднялся по стремянке и, ухватив Фаустину за голову, помог ей выбраться на верхний край сосуда, а затем и спуститься на землю. Под впечатлением от только что виденного, мэтр обследовал чудесную музыкальную шевелюру и обнаружил, что каждый волос бал помещен в своего рода тончайший водянистый чехол, образованный некоторыми химическими солями, растворенными в слюдяной воде. От сильной электризации сквозь эти невидимые оболочки вся масса волос вибрировала при соприкосновении со сверкающей водой, чем подтверждался сделанный мэтром ранее вывод о том, что, кроме несравненных оптических свойств, вода обладала еще и большой звуковой силой.

Это явление заставило Кантреля задуматься над тем, как она будет воздействовать, например, на шерстный покров кота, и без того легко электризующийся.

У него был белый сиамский кот по кличке Хонг-дек-лен, что значит «игрушка», отличавшийся заметным умом. Без долгих раздумий Кантрель принес кота к сосуду и бросил в воду.

Хонг-дек-лен стал медленно погружаться вглубь, не переставая при этом дышать как обычно, и после того как прошел первый испуг, он быстро обвыкся в новой для себя среде и принялся с любопытством осматриваться.

Почувствовав вскоре непривычную легкость, кот начал совершать длинные прыжки и научился мало-помалу после резкого подъема вверх замедлять падение ловкими движениями лап, пробуя себя, таким образом, в искусстве плавания, которое, судя по всему, должно было стать для него чем-то вполне обычным.

Как и следовало ожидать, шерсть его наэлектризовалась и слегка топорщившиеся волоски завибрировали. Но поскольку они были короткие и к тому же почти одинаковой длины, то и производили лишь слабое и неясное жужжание. При этом, однако, кожный покров стал фосфоресцировать ярким беловатым светом, достаточно сильным, чтобы быть заметным при свете дня и резко выделяться на фоне и без того ярко сверкающей воды. Кот был как бы окружен слепящими бледноватыми языками пламени, никак не сказывавшимися на его плавательных движениях, делавшихся все легче и плавнее.

Поняв, что высокое содержание кислорода в воде вызвало у кота неизбежное повышенное возбуждение, Кантрель решил прекратить опыт, снова влез на стремянку, позвал Хонг-дек-лена, и тот всплыл на поверхность. Хозяин вытащил его из воды за шиворот и спустился, чтобы поставить кота на землю. Но пока он спускался, тело его стали сотрясать непрерывные электрические разряды, исходившие от белой шубки зверя, каждая щетинка которой была покрыта тонкой прозрачной водянистой оболочкой.

Все еще испытывая боль, Кантрель вдруг пришел к новой мысли, возникшей непосредственно от самой

силы полученных ударов и основавшейся на любопытной семейной истории.

Прямой прапрадед нашего ученого хозяина Филибер Кантрель вырос в городке Арсис-сюр-Об вместе с Дантоном, бывшим его неразлучным другом. Позднее, сделав блестящую политическую карьеру, Дантон никогда не забывал своего друга детства, ставшего тем временем финансистом и ведущего в Париже активную, но незаметную жизнь, старательно избегая известности, в которой таилась угроза для него как «второго «я» знаменитого трибуна.

Когда Дантона приговорили к смерти, Филибер смог добиться свидания с ним и принял его последнюю волю.

Поняв по некоторым словам своих врагов, что они собираются бросить его останки в общую могилу, чтобы не оставить от него никаких следов, Дантон умолял верного товарища сделать невозможное и с помощью уговоров и подкупа заполучить хотя бы его голову.

Филибер тотчас же отправился к Сансону и сообщил ему последнее желание узника.

Фанатично восхищавшийся выдающимся оратором Сансон решился ради такого случая нарушить предписанный ему порядок и передал Дантону через Филибера следующие указания. В роковой миг, в порыве вызывающе красноречивой бравады, которой никто не удивится, зная его импровизаторские способности, Дантон попросит Сансона показать его голову народу под ироничным предлогом ставшего легендарным уродства его лица. После того как упадет лезвие гильотины, исполняя волю казненного Сансон достанет из корзины окровавленную голову и представит ее на несколько мгновений жадным взорам толпы. Затем ловким движением руки он бросит ее в другую корзину, всегда стоящую рядом с первой и заполненную веточками для протирания ножа и инструментами для заточки лезвия или срочного ремонта устройства. В этот день корзины специально поставят ближе обычного

друг к другу, так, чтобы никто не заметил, в какую из них полетит голова.

Довольный результатом своих переговоров Филибер еще раз сумел увидаться с Дантоном и передал ему указания палача.

Трибун изъявил при этом трогательное пожелание: он просил на тот случай, если задуманное удастся, забальзамировать его голову, а затем передавать ее от сына к сыну в роду его друга в память о героической преданности, проявление которой было также связано со смертельной опасностью. Филибер обещал Дантону в точности исполнить его волю и со слезами простился с ним, так как время казни неумолимо приближалось.

На другой день, перед тем как лечь под ноги гильотины, Дантон, выполняя оговоренные ранее указания, сказал Сансону знаменитую фразу: «Покажешь мою голову народу, она стоит того». Через несколько мгновений нож сделал свое дело и Сансон поднял отрубленную голову из корзины, чтобы показать ее неистовой толпе. Затем он бросил ее сверху в стоящую рядом корзину с инструментами. Только Филибер, стоявший в первом ряду зевак, заметил подмену, да и то потому, что был предупрежден о ней.

В тот же вечер Филибер явился к Сансону и тот передал ему не вызывавший никаких подозрений сверток с драгоценной головой.

Дома финансист стал думать, как забальзамировать голову, не подвергая себя риску, связанному с этой тайной.

Уверенный, что, если поручить это дело профессионалам, Дантона тотчас же узнают по знакомым всем чертам, Филибер решил все сделать сам, приобрел с этой целью несколько трактатов по бальзамированию и принялся их старательно изучать.

Усвоив самый простой из используемых способов, он стал погружать голову в различные химические растворы и составы, которые должны были обеспечить ее сохранность.

С тех пор в соответствии с желанием великого патриота необычная реликвия передавалась из поколения в поколение рода Кантрелей.

Однако Филибер оказался не очень удачливым бальзамировщиком и не смог как следует справиться со своей задачей, поскольку процесс разложения постепенно коснулся тканей, не затронув при этом мозг и лицевую часть, которые и сто лет спустя оставались нетронутыми, хотя на голове не сохранилось и следа кожи и мясистых частей.

Видя, в каком безупречном состоянии находится мозговое вещество и ткани, и движимый присущим ему духом исследователя, Кантрель долго пытался с помощью всевозможных электрических средств вызвать хоть какой-нибудь эффект в мертвой голове. Успех этих опытов представлял бы значительный интерес как с точки зрения давности смерти Дантона, так и с точки зрения его заметной роли в истории.

Но все его попытки не приносили результата.

Когда же от простого прикосновения к мокрому коту Кантрель почувствовал, как его тело сотрясается от электрических разрядов, он предположил, что, если погрузить на длительное время пресловутую голову в слюдяную воду, то, возможно, электризация в ней окажется достаточно сильной, чтобы вызвать желаемый рефлекс.

Он тщательно отделил от легендарной головы мозг, мышцы и нервы, оставив в стороне всю костную часть, а затем изготовил из легкого и плохо проводящего ток материала ажурный хитроумный каркас, удерживающий вялую массу в ее первоизданном виде.

Вся конструкция была погружена в чудесную воду на тонком проводе с пневматической подвеской, на нижнем конце которого на трех нитях держался каркас.

После полного дня пребывания в воде все ткани, вплоть до мельчайших, покрылись водянистой оболочкой, похожей на ту, что образовалась на волосах Фау-

стины и на шерсти Хонг-дек-лена, но чуть более плотной.

Кантрель извлек необычный предмет из воды, перенес его в одну из своих лабораторий и сильно наэлектризовал мозг. К его великой радости, он добился нескольких почти незаметных содроганий в нервах, управлявших в свое время нижней губой.

Уверенный, что он на правильном пути, мэтр осуществил несколько новых тщетных попыток в надежде получить более весомые результаты. Рефлекторное движение проявлялось то в одном, то в другом месте снова-таки лишь в виде почти неощутимой дрожи.

Не желая довольствоваться столь мизерной победой, Кантрель решил подать в голову ток во время ее погружения в сверкающую воду, полагая не без оснований, что электрические заряды высокого напряжения, накопившиеся в удивительной жидкости, наверняка увеличат магнетическую силу тканей и мозга, попадая на них со всех сторон.

Он снова погрузил голову в огромный «алмаз», а затем, устроившись наверху стремянки, установил на край сосуда работающий гальванический элемент, а провода от него опустил в воду до соприкосновения с полушариями мозга.

Эффект получился гораздо значительнее, чем раньше: губные нервы, казалось, произносили какие-то слова, а мышцы глаз и бровей начали робко двигаться.

Полный восторга ученый стал вновь и вновь повторять опыт. Наиболее активные движения совершались в области рта. По всей видимости, повинуясь некой привычке, мозг действовал больше на губы, благодаря необычайной словоохотливости, составлявшей на протяжении всей его жизни главную особенность славного оратора.

Убедившись, что необычное скопление клеток сохраняло, несмотря на прошедшее время, какой-то запас скрытой энергии, Кантрель яростно принялся за

новые опыты, желая получить как можно больше максимальных проявлений движения.

Однако все его попытки применять различные токи и бесконечно увеличивать силу батарей были напрасны: погруженное в воду лицо производило все те же содрогания глаз и неясные движения губ, никоим образом не улучшая первоначально достигнутый результат.

Кантрель взялся за поиски другого источника силы, способного извлечь более заметный эффект из бесценных человеческих останков, которые, по счастью, оказались в его руках.

И тут ему пришли на память его собственные старые работы с магнетизмом животных. В свое время он изобрел некое красное вещество, названное им «эритритом», которое, если поглотить его даже в количестве, равном булавочной головке, проникало во все ткани и электризовало их так, что они превращались в настоящую живую электрическую батарею. Достаточно было после этого ввести лицо пациента в специальный большой металлический раструб с несколькими отверстиями для поступления воздуха, чтобы добиться концентрации всей электрической энергии, накопленной в теле. При этом от простого прикосновения носок рожка мог создавать ток или приводить во вращение какой-либо двигатель. Поскольку это открытие не нашло практического применения, Кантрель отложил его в сторону, хотя и сохранил формулу эритрита, надеясь использовать его в своих будущих исследованиях.

Он пришел к выводу, что животный магнетизм самой природой своей предназначен для осуществления полубиологического опыта, имеющего целью своего рода искусственное воскрешение мертвого организма.

Однако слабость рефлексов лица, получаемых им до сих пор с помощью самых сильных батарей, показывала, что только огромная доза эритрита даст требуемый эффект. С другой стороны, чрезмерное потребление красного вещества чревато серьезной опас-

ностью, и испытывать его можно было только на животных.

Вспомнив, с какой легкостью Хонг-дек-лен сам научился двигаться в насыщенной кислородом воде, Кантрель решил воспользоваться умом kota и его очевидными способностями к быстрому обучению. Но прежде чем приступить к экспериментам, нужно было избавиться от густой белей шерсти, ибо ее слишком сильная способность к электризации неизбежно должна была породить токи противоположного направления и помешать достижению цели. Kota обработали сильнодействующим составом, от которого вся его шерсть безболезненно и полностью сошла.

После этого Кантрель изготовил из подходящего металла рожок как раз по размеру морды kota. Прodelанные в нем отверстия, во-первых, позволяли ему видеть, а во-вторых, способствовали постоянной циркуляции слюдяной воды внутри конуса, и значит, кислород в нем тоже постоянно обновлялся.

Ставший теперь розовым и утративший свой нормальный вид Хонг-дек-лен, снова был спущен в «алмазный» сосуд с надетым на морду металлическим рожком. Кантрель стал терпеливо дрессировать его, чтобы научить касаться носком рожка мозга Дантона, но пока еще не давая ему ни капли эритрита. Кот быстро сообразил, что от него требуют, и очень скоро благодаря умению хорошо держаться в толще воды посредством лап научился так легко совершать прикосновение к мозгу, что подвешенная на тонких нитях голова при этом почти не смещалась в сторону. Кантрель научил его также самому освобождаться от рожка передними лапами, а затем снова засовывать в него морду, когда рожок опускался на дно носком к стеклу.

Добившись таких вот первых результатов, Кантрель приготовил определенный запас эритрита. Но на этот раз он не стал делить полученное вещество, как раньше, на мельчайшие доли, а придал ему форму сильнодействующих таблеток. И поскольку прежняя доза была, таким образом, увеличена в сотню раз,

Хонг-дек-лен подвергался серьезной опасности. Из предосторожности Кантрель размельчил первую таблетку и стал приучать кота к эритриту, начав с мельчайших его частичек и мало-помалу увеличивая предлагаемую коту порцию.

Когда же кот впервые проглотил целую таблетку, Кантрель бросил его в лучистый аквариум, а затем, подождав, пока эритрит начнет действовать, подал животному определенный знак. Тотчас же выдрессированный Хонг-дек-лен опустился на дно, засунул морду в рожок, подплыл к мозгу Дантона и мягко дотронулся до него кончиком рожка. Мэтр расцвел от радости, видя, как воплощаются в реальность его мечты. Под действием мощного магнетизма животного, передаваемого рожком, мышцы лица охватила дрожь, а лишённые мясистой оболочки губы отчетливо зашевелились, как бы энергично произнося поток беззвучных слов. Умеющий читать по губам Кантрель смог разобрать некоторые слоги, складывающиеся в хаотичные обрывки льющихся одна за другой бессвязных или неустанно и с удивительной настойчивостью повторяющихся фраз.

Ослепленный такой удачей, Кантрель вновь и вновь с разными перерывами повторял опыт, бросая кота в воду и приучая его хватать уже в воде брошенную в нее таблетку эритрита.

Раздумывая над тем, как бы еще использовать слюдяную воду, мэтр задумал создать группу фигурок-поплавок для помещения внутрь «алмаза», они могли бы автоматически подниматься к поверхности под действием специального пузыря, в котором последовательно накапливалась порция кислорода, столь обильно растворенного в воде, а затем опускались бы на дно после резкого выхода из них газа.

Каждую фигурку снабжали хитроумным механизмом, действующим от внезапного выхода кислорода и приводящим к совершению того или иного движения или явления — вплоть до составления какой-либо

краткой типичной фразы из располагающихся соответствующим образом пузырьков.

Порывшись в памяти, Кантрель выбрал несколько эпизодов, которые могли бы послужить интересными сюжетами.

№ 1. Случай с Александром Македонским, описанный Флавием Аррианом.

В 331 году во время победоносного завоевания Вавилона Александру очень понравилась огромная красивая птица, принадлежавшая сатрапу Сеодиру, державшему ее всегда в своей опочивальне, привязав за ногу длинной золотой нитью, прибитой другим концом к стене. Царь завладел чудесной птицей, оставив ей прежнюю и хорошо известную ему кличку Аснор. К птице был специально приставлен совсем еще юный раб Тузил, обязанный кормить ее и заботливо ухаживать за ней.

Некоторое время, когда войско завоевателей находилось в Сузах, птицу держали в апартаментах Александра, восхищенного ее великолепным оперением. Конец золотой нити прибили к стене рядом с царским ложем, и Аснор, расхаживавший целый день по комнате, насколько позволяла ему длина привязи, ночь проводил на насесте, устроенном в нескольких шагах от хозяина.

Птица эта оказалась, однако, безразличной и холодной и не выказывала никакой привязанности к царю, державшему ее лишь по причине ее ослепительной красоты.

В то время в числе персидских воевод, допущенных Александром в его окружение, находился некто Брус, глубоко ненавидевший своего нового господина, хотя оказывавший ему при этом лицемерные знаки привязанности.

Движимый патриотизмом, Брус замыслил подкупить слуг Александра с тем, чтобы остановить путем убийства, в котором сам он прямо бы не участвовал, триумфальную поступь завоевателя.

Брус остановил свой выбор на Тузиле, так как тот благодаря должности, занимаемой им при Асноре, мог свободно входить в любое время в царские покои, и пообещал юному рабу озолотить его, обеспечить на всю жизнь, если он предаст смерти угнетателя Азии.

Тузил решился на предложенную ему сделку и стал думать, как заработать обещанную награду, не подвергая себя риску.

За те дни, которые он беспрестанно ухаживал за Аснором, подросток заметил, что птица эта была очень покорна и великолепно поддавалась любой дрессировке. Он задумал так обучить птицу, чтобы она убила Александра, и тогда в его смерти нельзя было бы никого обвинить.

Всякий раз, когда Тузил оставался один в опочивальне царя, он укладывался на его ложе и терпеливо приучал Аснора завязывать клювом большой узел-удавку из золотой нити, привязанной к его лапе.

Когда послушная птица научилась выполнять этот трюк, юный раб, все так же лежа, стал учить ее надевать на себя огромную петлю так, чтобы одна часть ее ложилась на шею, а другая — ближе к затылку. Затем, подражая беспорядочным движениям спящего человека, он выучил ее при любой возможности подтягивать все дальше под затылок смертоносную золотую нить, достаточно тонкую, чтобы проскользнуть между головой и подушкой. Известно было, что у Александра беспокойный сон, и это должно было в подходящий момент облегчить работу Аснору.

Пройдя и этот этап дрессировки, Тузил стал приучать птицу быстро отбегать в нужном направлении и резко натягивать нить во всю силу своих огромных крыльев, а сам он при этом хватался обеими руками за страшный ошейник, чтобы не оказаться задушенным. Принимая в расчет необыкновенную силу громадной птицы, задуманный способ должен был привести к немедленной смерти Александра. К тому же все должно было непременно произойти беззвучно, так как покой царя охранял находившийся в соседней комнате

гигант Вырл — его непобедимый и преданный телохранитель.

Тузил был полностью уверен в крепости нити, сплетенной весьма прочно для того, чтобы не дать улететь птице с мощными крыльями.

Когда все было готово, раб стал спешить выполнить задуманное.

С самого начала дрессировки он нарочно ложился плашмя на ложе, так что один лишь вид лежащего мужчины служил для Аснора сигналом к действию. До этого не приходилось опасаться, что птица хоть отчасти выполнит внушенное ей задание, ибо она проводила всю ночь в глубоком сне. Но в нужный вечер подросток просто дал ей проглотить снадобье, прогонявшее сон, уверенный, что при виде спящего на своем ложе Александра она совершит все действия, которым была обучена.

Как удалось выяснить впоследствии, все произошло так, как и предусматривал Тузил. Когда царя сморил мертвый сон, птица ловко соорудила петлю, одела ее на шею спящего и потянула за нить сильными взмахами крыльев. Однако судорожным бессознательным движением Александр зацепил рукой стоявший рядом металлический кубок, еще полный оставляемого ему на ночь питья.

Услышав звук упавшего предмета, в опочивальню бросился Вырл и при слабом свете ночника увидел посиневшее от напряжения лицо царя, тело которого изгибалось в конвульсиях. Гигант кинулся на птицу, мигом скрутил ее, а затем своими сильными пальцами ослабил смертельный узел, стягивавший шею Александра, и помог ему прийти в чувство.

После скорого дознания Тузил был схвачен, ибо только он один мог научить птицу столь сложным действиям.

Подвергнутый допросам раб сознался и назвал того, кто подстрекал его к убийству. Однако Брус, дождавшись о провале его попытки убить царя, поспешил бесследно исчезнуть.

По велению Александра были преданы смерти Тузил и опасная птица Аснор, которая и в будущем могла продолжить попытки умертвить какого-либо спящего человека.

№ 2. Рассказ святого Иоанна, согласно которому Пилат после распятия Иисуса всю свою жизнь испытывал ужасные мучения, навсегда утратив покой и сон.

Как писал евангелист, с наступлением вечера Пилат ощущал во лбу своем нестерпимое жжение, усиливавшееся по мере того, как сгущались сумерки, и исходившее от фосфоресцирующего знака, изображавшего распятого Христа и стоящих возле него на коленях Деву Марию и Марию Магдалину. Свет от их очертаний постепенно становился все ярче, и когда спускалась ночь, казалось, что это странное сверкающее, ослепляющее видение создано самим солнцем. Самого же Пилата все это время терзали настоящие пытки, похожие на без конца поддерживаемый адский огонь.

К физической боли присоединялось и душевное мучение, ибо Пилат прекрасно сознавал, что эта пылающая картина — преследующие его угрызения совести. Огненный знак, занимавший весь его лоб, спускался к векам, куда ниспадали с обеих сторон плащи Магдалины и Богородицы. Единственный способ, которым несчастный мог освободиться от этой муки, было осветить тьму. Светящийся знак при этом тотчас исчезал, а вместе с ним и ощущение жжения.

Но и постоянный свет сам по себе становился настоящей пыткой, и Пилату едва удавалось забыться на несколько мгновений лихорадочным и некрепким сном. Когда же в эти секунды эфемерного покоя он бессознательно пытался укрыться от изнуряющего света, прикрывая ладонью лоб и глаза, устрашающая пламенная картина тут же возвращалась к нему и вновь вызвала острое жжение.

Точно так же и днем проклятый должен был постоянно находиться на ярком свете. Стоило ему случайно

повернуться в сторону темного угла комнаты, как немедленно возникало огненное клеймо, отмечавшее его на глазах у всех подлинной печатью низости.

В конце концов жизнь его стала невыносимой. Забывший, что такое сон, с глазами, испорченными непрекращающимся светом, Пилат отдал всю свою власть за возможность хотя бы на миг погрузиться в густую тьму. Но когда, подчиняясь непреодолимому желанию, он тушил свет, стигмат вдруг вспыхивал ярчайшим пламенем и жег его так, что он вновь торопливо зажигал ненавистный огонь.

Так до самого своего последнего часа несчастный грешник мучился от неизлечимого недуга.

№ 3. Эпизод, описанный поэтом Жильбером в его «Пережитых восточных снах».

Году эдак в 1778, будучи исполненным любопытства дилетантом и испытывая благородную жажду творческих ощущений, Жильбер предпринял длительное путешествие в Малую Азию, в преддверии которого он посвятил долгие месяцы усердному изучению арабского языка.

Посетив много разных мест и городков, он добрался до развалин Баальбека — главной цели своих странствий.

То самое важное, чем знаменитый мертвый город привлекал к себе его любопытство, заключалось в памяти о великом сатирическом поэте Миссире, чьи произведения, частью дошедшие до нас, появились в эпоху расцвета Баальбека.

Как сатирик Жильбер до фанатизма восхищался Миссиром, справедливо считая его своим духовным прародителем.

В первый же день путешественник разыскал главную площадь, куда, по преданиям, Миссир приходил в определенные дни и нараспев читал благоговейно внимающей толпе свои новоиспеченные стихи, подчеркивая ритм слов своих позваниванием нечетного систра.

Жильбер был знаком со многими противоречащими друг другу и исполненными яростной страсти сочинениями различных знатоков творчества Миссира, писавших под впечатлением народного предания, в котором с большой уверенностью говорилось, что великий поэт обладал необычным систром. Некоторые из них заявляли, что это невозможно, ссылаясь на то, что на древних систрах, изображенных на рисунках и памятниках, было четыре или шесть поперечных металлических прутков, и приводили в подтверждение результаты раскопок, при которых не было найдено ни одного непарного систра. По мнению же других, следовало тем не менее довериться авторитетным преданиям и признать, что Миссир захотел отличиться, используя единственный в своем роде инструмент.

Отослав своих проводников в сторону, Жильбер остался поразмышлять в одиночестве на месте, освященном почитаемой тенью своего далекого предтечи. В лежавших вокруг него развалинах он хотел увидеть древний многолюдный и богатый город и испытывал волнение при мысли о том, что наверняка ступает по камням, сохранившим следы ног Миссира.

Близился вечер, но Жильбер, забыв о времени, погрузился в думы, недвижно сидя среди старых разброшенных камней, бывших когда-то частью зданий.

Только с наступлением темной ночи он решился наконец покинуть притягивавшее его место. Поднимаясь с камня, он заметил вдруг неподалеку свет — тонкий дрожащий лучик, пробивавшийся вверх из какого-то глубокого подземелья.

Жильбер подошел ближе и ступил на старые плиты разрушенного некогда дворца. Мерцающий свет проходил сквозь узкую щель между двумя плитами.

Заглянув в освещенную щель, поэт разглядел просторную залу, по которой среди затейливых груд предметов, тканей и украшений расхаживали два незнакомца. Один из них держал в руке лампу.

Прислушавшись к разговору двух этих приятелей, по виду местных жителей, Жильбер без труда понял их

замыслы. Младший из них наткнулся как-то в подземных помещениях, о существовании которых никто не подозревал, на всевозможные древние вещи, постепенно снесенные им в ту залу, где они теперь находились и куда было чрезвычайно трудно проникнуть. Старший — очевидно, моряк — предлагал раз в году забирать отсюда часть сокровищ и подвозить их ночью на тележке к морю, а там их перегружали бы на судно и он отвозил бы их в далекие края, чтобы продавать по баснословным ценам. Сообщники делили бы прибыль между собой, держа все дело в тайне, дабы избежать справедливых требований их соотечественников, имевших одинаковые с ними права на этот общий клад.

Ходя взад и вперед по проходу, молодцы отбирали предметы, которые они собирались доставить под покровом ночи к морю. Отобрав необходимое, они удалились и выбрались из подземелья так, что Жильбер не смог понять, где же находится вход. Напрасны были и все его усилия заметить незнакомцев в каком-либо месте развалин.

Не слыша более никаких звуков, охваченный безумным любопытством поэт во что бы то ни стало хотел коснуться руками и полюбоваться наедине, до того, как их увидят все остальные, неизвестными ему сокровищами, лежавшими совсем рядом. Вышедшая недавно луна заливала своим светом две лежавшие у его ног плиты. Жильбер обнаружил, что на одной из них не было следов скрепляющего раствора. Руки его *Рэймон Руссель*

нашли, за что ухватиться в щели между плитами, а потом тяжелый камень был приподнят и отвален в сторону.

Цепляясь пальцами за края открытого им прохода, Жильбер быстро скользнул в него, повис на вытянутых руках и наконец легко соскочил вниз.

Лунный свет потоком лился в отверстие из-под плиты, и поэт лихорадочно и с восхищением принялся разглядывать ткани, украшения, музыкальные инст-

рументы, статуэтки, сваленные в этом захватывающем дух музее.

Но вдруг он остановился, весь дрожа от изумления и волнения. Перед ним, освещенный мертвенно бледным светом, посреди различных безделушек стоял сistr с пятью прутками! Он торопливо схватил его, чтобы рассмотреть поближе, и разглядел на рукоятке имя Миссира, вырезанное доподлинными буквами, убедившее его в том, что в его руки попал знаменитый непарный сistr, вызывавший доселе столько споров.

Ослепленный находкой, Жильбер взгромоздил друг на друга несколько ящиков и стульев и благополучно выбрался из подвала.

Оказавшись снова наверху, он вернулся на то место, где так долго простоял в задумчивости, и пьяный от радости прочитал в оригинале самые прекрасные стихи Миссира, тихонько покачивая систром, которого касалась когда-то рука великого поэта.

Залитый лунным светом, охваченный приподнятым волнением, Жильбер, казалось, ощущал дыхание Миссира в своей груди. Он стоял именно там, где его кумир в далекие времена читал толпе речитативом свои новые творения, отбивая такт тем самым инструментом, звучание которого раздавалось теперь в ночной тиши!

После долгих минут упоения поэзией и думами о прошлом Жильбер отыскал своих проводников и сообщил им о спрятанных в подземелье сокровищах и о подслушанном им разговоре. Была устроена западня, и в ту же ночь оба злоумышленника были схвачены в момент, когда они приступили к исполнению своих грабительских планов.

В благодарность за оказанную важную услугу Жильберу преподнесли в дар сistr Миссира, и он до конца жизни трепетно хранил бесценную реликвию.

№ 4. Ломбардская легенда, поразительно похожая на притчу о курице, несущей золотые яйца.

Жил был когда-то в Бергаме карлик по имени Пиццигини.

Каждый год в первый день весны под действием сил обновляющейся природы поры на его коже раскрывались и все тело исходило кровавым потом.

В народе считалось, что если это кровопотение сильное, то можно ждать благоприятной погоды и заранее быть уверенным в богатом урожае; когда же пот выделялся не обильно, то следовало готовиться к большой засухе, за которой последуют голод и разруха. Надо сказать, что верования эти постоянно подтверждались жизнью.

Когда наступало время этой странной болезни, которая к тому же сопровождалась таким жаром, что ему приходилось укладываться в постель, за Пиццигини всегда наблюдала кучка земледельцев и в зависимости от количества вышедшей в виде пота крови по всем долинам этого края от одного селянина к другому передавалось веселье или уныние.

Если предсказание оказывалось удовлетворительным, крестьяне, уверенные, что прекрасный урожай принесет им долгие дни отдыха и радости, благодарили карлика и посылали ему всевозможные дары. Их суеверие превращало его в подобие божества. Принимая следствие за причину, они полагали, что Пиццигини по своей воле посылает хороший или плохой урожай, и в случае удачного предсказания побуждали его щедростью своих даров ублажить их еще и на следующий год.

Напротив, если пота было мало, никаких подарков карлик не получал.

Ленивому и развращенному Пиццигини очень нравилось пользоваться благами, стоившими самому ему столь малого труда. Всякий раз, когда кровь в достаточном количестве заливала его белье и постель, дары, посылавшиеся ему со всех уголков края, давали ему возможность жить целый год в покойной и пышной праздности. Но будучи слишком слабовольным и непредусмотрительным, чтобы откладывать что-то на

черный день, после каждого слабого кровопотения он впадал в нищету.

Как-то раз весной, накануне ожидаемого всеми дня, перед тем как улечься в кровать и претерпеть свое лихорадочное потение, он спрятал в постели нож, дабы при необходимости помочь природному явлению.

И вышло так, что у нашего уродца тело лишь чуть-чуть увлажнилось. На лице его едва можно было заметить несколько красных капелек. Страшась грозящих ему долгих месяцев голодной жизни, он схватил нож и, делая вид, что извивается от жара, нанес себе на руки, ноги и туловище глубокие порезы, не вызвав при этом подозрений у наблюдавших за ним крестьян.

Кровь стала заливать белье к великой радости всех стоявших у кровати. Но раненый карлик уже не мог остановить кровотечение. Обрадованные же крестьяне оставили его истекать кровью в полумертвом состоянии и поспешили известить весь люд, что никогда еще, просто-таки никогда, красный пот не выделялся столь обильно.

Пищигини удостоился необычайно хороших и многочисленных подношений, хотя сам он страшно ослабел, исхудал и едва передвигался, пугая всех мертвенной бледностью.

Однако в тот год разразилась небывалая засуха и жестокий голод воцарился повсеместно. Впервые предсказания недомерка не сбылись.

Те, кто наблюдал за карликом во время его кровепотного приступа, почуяли подвох и усомнились в его мнимых лихорадочных дерганиях, а усомнившись, поставили его показать свое тело и обнаружили на нем рубцы от им самолично нанесенных себе ран.

Весть об обмане вызвала огромное возмущение и презрение к плуту, выманившему себе прекрасные дары и тем самым еще больше усугубившему нищету народа.

Но все же людское суеверие предохраняло Пищигини от каких-либо грубых нападок, и люди ничего не предпринимали против этого своеобразного идола, ко-

торый, по единодушному мнению, мог еще принести в будущем немало пользы крестьянину. Было решено лишь отныне более тщательно следить за явлением алого пота.

Тем временем карлик, посмеиваясь исподтишка, продолжал бессовестно и на виду у всех тратить нажитое обманом, тогда как весь край был близок к агонии.

Бледность его и истощение достигли при этом крайних пределов, и он предавался своим непрекращающимся оргиям, словно какой-то призрак.

На следующий год, когда подошел обычный весенний срок, Пиццигини улегся, как положено, на кровать, но уже под неусыпными взорами окружавших его людей. Напрасно, однако, все ждали появления кровавого пота. Пораженный малокровием со времени того страшного кровопускания, плюгавый человек оказался теперь неспособным на новую демонстрацию своего странного феномена, который до сих пор про являлся регулярно, хотя и с разной силой.

Карлик не получил никаких подарков.

Четыре месяца спустя необычайно богатый и обильный урожай показал всем никчемность карлика как предсказателя.

Обреченный на одиночество и презрение Пиццигини, собственноручно зарезавший курицу, несущую золотые яйца, жил с тех пор в беспросветных лишениях, ибо кровь его так и не восстановилась и никогда больше ежегодное кровопотение не возобновлялось.

№ 5. Сюжет из мифологии о том, как изнуренный от усталости Атлант, сбросил однажды небесную сферу со своих плеч, чтобы тут же, подобно закапризничавшему ребенку, со страшной силой пнуть ногой ненавистное бремя, нести которое он был обречен вечно. Пятка его угодила прямо в Козерога, чем и стали объяснять впоследствии чрезвычайную несуразность фигуры, образованной после такого удара звездами этого созвездия.

№ 6. Случай из жизни Вольтера, почерпнутый из переписки Фридриха Великого.

Осенью 1775 года пресыщенный славой восьмидесятилетний Вольтер гостил у Фридриха в замке Сан Суси.

Как-то два друга прогуливались вблизи королевской резиденции, и Фридрих с восхищением внимал увлекательным речам своего выдающегося спутника, а тот, войдя в раж, остроумно и пылко излагал свои бескомпромиссные антирелигиозные воззрения.

Так, в беседе, друзья забыли о времени, и закат солнца застал их в чистом поле. Как раз в этот момент Вольтер разразился особенно резкой тирадой против старых догм, с которыми он так долго боролся. Вдруг он умолк на середине фразы и застыл на месте, охваченный сильным волнением.

В нескольких шагах от них совсем еще юная девушка опустилаcь на колени, заслышав доносившийся от часовенки звук далекого колокола, звавшего на молитву. Сложив руки и обратив лицо к небу, девушка громким голосом и с чувством молилась, даже не замечая двух незнакомцев, — так далеко, в края мечты и света, стремительно уносил ее восторг.

Вольтер глядел на нее с невыразимой тоской, отчего его худое лицо стало еще более землистым, чем обычно. От сильного волнения черты его судорожно сжались, и при звуке священных слов услышанной им рядом молитвы с уст его бессознательно, словно песнопение, сорвалось латинское слово «Dubito» — «Я сомневаюсь».

Сомнение это наверняка касалось его собственных учений об атеизме. Можно было подумать, что при виде отрешенного выражения лица молящейся девушки на него снизошло некое озарение, а близость смерти, чему в его возрасте удивляться не приходилось, навесила страх перед вечными муками, охвативший все его существо.

Состояние это длилось всего мгновение. Ироническая улыбка вновь мелькнула, и начатая фраза была завершена язвительным тоном.

И все же потрясение состоялось, и Фридрих навсегда запомнил тот краткий и бесценный миг, когда Вольтер испытал мистическое озарение.

№ 7. Событие, прямо касающееся гения Рихарда Вагнера.

17 октября 1813 года, Лейпциг, перемирие, объявленное между французами и союзными войсками, прервало начатую накануне смертельную битву, которой суждено было с таким ожесточением продолжаться еще два следующих дня.

На одной из празднично украшенных улиц скопилась толпа бродячих артистов и торговцев, которых армии всегда тянут за собой. Многие горожане слонялись тут же среди солдат, и весь этот оживленный люд своей пестротой напоминал ярмарочную сутолоку.

В толпе весело носилась стайка молодых женщин, которых явно привлекала мишура передвижных лавок и забористость призывов продавцов. Одна из женщин несла на руках ребенка, которому было тогда уже около пяти месяцев, и ребенком этим оказался не кто иной, как Рихард Вагнер, родившийся в Лейпциге 22 мая того же года.

Неожиданно какой-то длинноволосый старик, стоявший у столика, издали окликнул молодую мать, предлагая ей погадать на ребенка. Чистый француз и по своему виду, и по выговору, человек с трудом изъяснялся на ломаном немецком, вызвавшем смех веселых женщин. Видя, что дело выгорело, он слегка подзадорил их, и вся стайка подлетела к нему.

Напустив на себя таинственный вид, старик посмотрел на ребенка и взял со столика стакан, доньшко которого было устлано ровным и тонким слоем металлических опилок.

Не выпуская стакан из рук, он предложил молодой матери трижды щелкнуть пальцем по его краю и ду-

мать при этом о судьбе своего ребенка. Женщина в точности выполнила наставления старика и кончиком указательного пальца троекратно стукнула по стакану, продолжая все так же крепко прижимать к себе свою живую ношу. Коддун же бережно поставил стакан на столик, водрузил на нос огромные очки и стал рассматривать порошок, уже не лежавший на доньшке таким же ровным слоем.

Внезапно он отшатнулся с изумленным видом, взял из стоявшего перед ним письменного прибора листок белой бумаги и стал переписывать на него пером рисунок, образовавшийся на металлическом порошке. Затем он протянул бумагу женщине, и та увидела на ней написанные по-французски два слова «Будет ограблен», достаточно разборчивые, хотя буквы лежали вкривь и вкось, а линии их были неровными то же время гадалщик обратил внимание женщины на то, что слова на бумаге полностью совпадали с рисунком, возникшим на порошке после постукивания по стакану и принявшим вид двух переписанных им слов.

Старик перевел женщине значение этой короткой фразы и на ломаном немецком силился объяснить ей ее значение. По его словам, в этом лаконичном выражении, как в зародыше, лежали самые высокие судьбы гениев искусства и применяться оно могло только к какому-нибудь великому новатору, способному дать жизнь собственной школе и плеяде подражателей.

Счастливая мать, хоть и не была суеверной, щедро заплатила прорицателю и забрала листок бумаги, храня его как бесценный документ. Позднее она отдала его сыну и рассказала ему о том приключении, в центре которого он оказался когда-то, сам того не осознавая.

Под конец жизни Вагнер, чье творчество, наконец приобретшее известность и признание, уже привлекало к себе стаи хищных и бесстыдных плагиаторов, с удовольствием рассказывал эту историю и признавался, что столь счастливо осуществлявшееся предсказание оказывало на весь его творческий путь благотвор-

ное влияние, принося ему некое суеверное подбадривающее начало во все бесконечные годы неудач и бесплодной борьбы, когда им часто овладевало отчаяние.

Остановив выбор на столь различных сюжетах, Кантрель заказал фигурки-поплавки, снабдив заказ точными указаниями.

В основание каждой из них должен был быть заложен тщательно рассчитанный грузик для удерживания их в состоянии постоянного равновесия, а внутри самой фигурки выполнялась покрытая специальным металлом полость для улавливания и выделения химическим путем дополнительной порции кислорода, растворенного в слюдяной воде. Когда полость эта постепенно наполнялась газом, поплавок должен был сам по себе всплывать на поверхность. Однако по достижении определенного давления ровно через десять секунд после рассчитанного начала всплытия кислород, содержащийся в крошечном чреве, должен был приподнять на мгновение его верхнюю часть — подобно крышке — и вырваться в виде пузырька наружу, приводя при этом в действие некий механизм, заставляющий фигурку выполнять движения, соответствующие изображаемому ею сюжету. После полного выхода воздуха фигурка должна была снова погрузиться на дно под собственным весом, пока вновь образовавшийся в ее внутренностях кислород не принудит ее к очередному всплытию.

Некоторые из этих автоматических игрушек требовали оснащения чрезвычайно тонким механизмом. Например, для появления светового знака на лбу Пилата нужно было включать на время вделанную в него маленькую электрическую лампочку. Слово «Dubito», в котором был сосредоточен весь смысл истории, казавшейся Вольтера, должно было срываться с приоткрытых уст великого мыслителя в виде множества воздушных пузырьков, выстраивавшихся в нужном для слова порядке в результате хитроумного деления на части одного пузыря, вылетавшего из фигурки. Для

воссоздания кровавого пота механизм, приспособленный к карлику Пиццигини, должен был при каждом движении выпускать из внутреннего резервуара через множество отверстий определенное мизерное количество специального красного порошка, который на мгновение окрашивал воду, а затем полностью растворялся в ней и исчезал. В стакане лейпцигского шарлатана поддельный металлический порошок должен был принимать требуемую форму слов при трех щелчках пальца по нему.

По завершении всех этих сложных приготовлений Кантрелю пришла мысль, что он еще не пробовал свою воду. И тогда он приготовил небольшой запас ее для дегустации и испытания ее свойств на себе.

После того как ее наливали в бокал, слюдяная вода, похожая на жидкий алмаз, казалась предназначенной для утоления пересохшего от жажды горла. С первых же глотков Кантрель обнаружил ее исключительную легкость и тончайший вкус. Он с жадностью выпил кряду три стакана искрящегося напитка, ввергнувшего его, ввиду избытка в воде кислорода, в состояние необычайной веселости.

Тогда Кантрелю захотелось узнать, какие ощущения он испытает, если добавить к опьянению водой действие вина.

Он велел подать себе пьянящего сотерна и стал наполнять им бокал, из которого только что пил и на дне которого осталось немного воды. Мэтр замер, увидев, как первые же капли вина превратились в плотную массу. Слюдяная вода придала свой чудесный блеск вновь образовавшемуся в ней твердому телу. Оно же благодаря своему собственному цвету засверкало, подобно солнцу. Состав воды не позволял жидкости смешаться, а в результате резкого обогащения кислородом бордоское вино затвердевало.

Кантрель ощупал винную массу пальцами и нашел ее весьма податливой. Он тут же забыл о намеченном испытании двойного опьяняющего действия, так как в

голове его возник новый план, основанный на мягкости и солнечном блеске обращенного в плотную массу вина. Незадолго до этого он начал опыты по акклиматизации, пытаясь, в частности, приучить некоторых морских рыб к пресной воде. Его единственным методом работы в ходе этого эксперимента было постепенное обессоливание морской воды, немедленно прекращавшееся, если у подопытных рыб отмечалось хоть какое-то нарушение жизнедеятельности. Таким образом, для успешного проведения опыта требовалось большое терпение и немалое умение.

Первый успех был достигнут во время работы с морскими коньками, акклиматизация которых на тот момент уже полностью закончилась. Трое из десяти погибли во время опасного эксперимента, а оставшиеся в живых семеро теперь совершенно спокойно, без тени неприятия или возмущения жили в пресной воде.

Кантрель решил выпустить их в «алмазный» сосуд и запрячь в шар из затвердевшего сотерна, который благодаря искрящейся слюдяной воде будет выглядеть как настоящее миниатюрное солнце, а вся композиция станет похожа на эдакую водную колесницу Аполлона.

Для начала и для пробы он бросил в граненый сосуд одних лишь морских коньков, чтобы посмотреть, не оказывает ли на них вредного влияния новая среда. Уже через секунду стало видно, как эти грациозные создания, испытывающие, вероятно, сильные неприятные ощущения, стремятся найти выход из аквариума.

Кантрель быстро понял весьма простую причину охватившей их тревоги и мысленно упрекнул себя за то, что не предусмотрел ее заранее. Дело оказалось в том, что сверкающая жидкость прекрасно подходила для дыхания чисто земных существ, но содержала слишком много кислорода для созданий водных, и для морских коньков находиться в ней было так же опасно, как и на воздухе.

Метр поспешил выловить их сачком и вернуть в уже привычный им аквариум.

Затем, думая о том, как бы избежать огромного недостатка, грозящего разрушить все его планы, он решил проделать в груди каждого конька сквозной канал, через постоянно открытые отверстия которого будет выходить избыток кислорода, образующегося в организме морских коньков.

Эксперимент был проведен для начала на одном коньке и увенчался полным успехом: легкие пузырьки находили себе выход через новые отверстия свища, как только конька погружали в слюдяную воду, и он не испытывал теперь никаких неудобств, а спокойно плавал в искрящейся жидкости. В обычной воде края сквозного канала не испытывали давления избыточного воздуха изнутри и полностью смыкались на отверстии, обеспечивая его совершенную герметичность.

Когда встал вопрос о том, какую упряжь приспособить для задуманного им сказочного экипажа, Кантрель решил использовать для этого тесемочки, пропущенные через свищ, сделав их достаточно длинными для закрепления на винном шаре.

Поскольку, по замыслу Кантреля, колесница должна была совершать грациозные круги внутри «алмаза», ему захотелось еще более украсить зрелище и провести первые в мире скачки коньков. Если придать тесемочкам достаточную эластичность, то самые быстрые из коньков будут обгонять остальных лишь на совершенно незначительное расстояние — столь слабы их силы.

Для того же, чтобы легче можно было различать скакунов, Кантрель остроумно покрасил каждую тесемочку в один из семи цветов радуги, подобно тому, как на обычных скачках различают жокеев по цветным знакам. Предварительно он провел пробные заезды, дабы установить скорость каждого конька и расположить их в порядке от самого слабого к самому сильному. Итак, все они получили свои тесемки, раскрашенные в строгом соответствии с цветами радуги.

Размышляя о том, как прикрепить эти странные вожжи к желтому шару, Кантрель подумал, не сможет ли электричество, передаваемое слюдяной водой все-

му, что в ней находится, создавать определенное притяжение между затвердевшим вином и каким-либо токопроводящим материалом, которым можно было бы оснастить концы вожжей. После нескольких более или менее удачных проб он соединил оба конца каждой тесемки в тонкой блестящей оболочке, сделанной из металла, выбранного среди многих за показанные им качества, которая при достаточном сближении с миниатюрным солнцем в слюдяной воде обязательно прилипнет к нему.

Стараясь точно обозначить дистанцию скачек, Кантрель погрузил в сосуд недалеко от Дантона простую маленькую трубку, изготовленную с точно рассчитанной плотностью и держащуюся поэтому неподвижно на небольшой глубине, не пытаясь всплыть или опуститься ниже. Чтобы пройти полный круг, упряжка должна была обогнуть, двигаясь справа от центра «ипподрома», с одной стороны неподвижную трубку, а с другой — группку фигурок-поплавков. Фигурки же эти в силу их количества и неизбежной несогласованности при чередующихся подъемах и спусках будут обозначать — по крайней мере, одна из них — какую-либо точку верхней зоны, в которой будут проходить скачки.

Рассудив, что зрелище внезапно затвердевающего сотерна при его соприкосновении со слюдяной водой достойно интереса, мэтр решил вливать вино в последний момент, а также научить морских коньков самих лепить солнечный шар, разминая своими левыми боками, которые он выровнял с помощью слоя воска одинакового с ними цвета, падающие в воду куски вина.

Когда дрессировка достигла желаемых результатов и куски стали склеиваться воедино, не оставляя при этом следов соединения, он научил своих питомцев разом отпускать шар, выстраиваться тут же в одну шеренгу, чтобы metallические оболочки тесемок, прилипая рядышком к миниатюрному светилу, остано-

ливали его медленное погружение и образовывали правильную и равномерно одетую упряжь.

В конце концов он выдрессировал их так, что по сигналу они начинали скачки, пытаясь обогнать при этом друг друга. Финишем служила трубка, а наблюдать за завершением скачек лучше всего было через одну из граней «алмаза» в черный кружок, нарисованный на ней.

Коньки с тесемками выучены были выстраиваться в свою необычную упряжку в точности так, как располагаются цвета настоящей радуги. А так как беговые лошади должны иметь клички, то Кантрель, дабы не напрягать память болельщиков, дал своим семи чемпионам просто латинские номера от фиолетового цвета к красному. Владелец фиолетовой тесемки — «Первый», самый медленный из группы, располагался на левом краю шеренги, получая таким образом постоянное преимущество, тогда как самый резвый скакун — «Седьмой», напротив, помещался крайним справа со своей красной тесемкой, самой длинной из всех. Идеальная пропорция, соблюдавшаяся между величиной преимущества, данного каждому из пяти средних скакунов в соответствии с их физическими возможностями, обеспечивала полную справедливость незначительной форы, основанной на необычной необходимости для запряженных в единую «колесницу» коньков вечно оставаться на одном и том же месте в шеренге.

Во все то время, что Кантрель рассказывал, Хонгдек-лен без конца играл с медленно влекомым морскими коньками солнечным шаром.

Закончив рассказ, Кантрель обошел «алмаз», закатал правый рукав, сделал знак Фаустине, чтобы она посадила кота себе на плечо, а сам снова поднялся по стремянке.

Опустив руку в воду, он подхватил карликовое солнце, легко отделил его от металлических присосок и уложил рядом с бутылкой сотерна.

Один за другим морские коньки перекачивали из сосуда в сачок, а из него в аквариум, где из их груди наконец-то перестали вырываться воздушные пузырьки.

Кантрель положил руку на шею Фаустине, а она, откинув голову назад, ухватилась руками за край сосуда, в то время как Хонг-дек-лен терся о ее щеку. Подтянувшись на руках, она оттолкнулась ногами в воде и, поддерживаемая крепкой рукой за затылок, выбросила тело из воды, стала коленями на крышу сосуда и спустилась по никелированной лесенке вслед за хозяином, прома-кивавшем платком руку, чтобы поскорее опустить рукав.

Кот прыгнул с ее плеча на землю и умчался в сторону виллы, а наша группа, к которой присоединилась Фаустина, снова неторопливо тронулась в путь. В ответ на наши опасения, что она может простудиться, танцовщица сказала, что это ей совершенно не грозит, так как по выходе из сосуда в ее организме наступала длительная и сильная тепловая реакция.

Луи Арагон
ТЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ²

Когда передо мной самые плохонькие сочинения, банально беспорядочные или трогательно наивные, но я при этом способен осознать, что передо мною всё-таки сочинения, именно это свойство — придуманность, изобретённость — поражает меня, как бы эфемерны и нелепы они ни были; и моё сердце уже не может оставаться равнодушным. Я много раз испытывал паническое чувство на Выставках Конкур Лепин, куда я возвращаюсь, сам не знаю почему, каждый год и прогуливаюсь среди изобретений: дурацких игрушек и удивительных приспособлений, что оказывают весьма сомнительную службу домашним хозяйкам. Чайные ситечки, розетки подсвечника на пружине наводят на меня порой непреодолимый ужас. В такие минуты я пытаюсь представить себе человека, придумавшего всё это, и спокойно опускаюсь в пропасть. Открытие — интеллектуальный удар грома, оно не соизмеримо ни с порождаемой им любовью, ни с её разрушительной силой. Тот же механизм действовал и при открытии лампы Галилея, и при создании игрушки — деревянных дровосеков, рубящих по очереди ствол дерева. Возникает чудесное, оно не прекращает существовать благодаря имажинативной длительности, в процессе которой кажется, что дух продуцирует из самого себя некий принцип, который не был в него вложен изначально. Универсализация открытия, то есть признание его ценности, какой бы неожиданной она ни оказалась, всегда остаётся ниже момента мысли. Судья, умеющий останавливаться только на по-

² 1924. Перевод с французского Елены Гальцовой.

следствиях, рискует уменьшить эффект, производимый мыслью; нет сомнения, что Гегель предпочёл бы яблоку Ньютона ту сечку, которую я видел вчера у торговца скобяным товаром на улице Монж, её реклама убеждала, что «эта уникальная сечка открывается, как книга».

На перекрёстке грёз, куда приходит человек, не ведая о продолжении своей долгой прогулки, прекрасное безразличие золотит отсветы универсума. Когда на первом плане наших воспоминаний возникают полезные изобретения, прославлены будут исключительно они прежде всего и всегда, но обратите внимание на их тень: не в ней ли их истинная природа? В тот момент, когда формируются тени, эти машины практической жизни ещё только пробуждаются с неубранными волосами сна, с безумными глазами, ещё не адаптированными к миру, что делает их близкими простому поэтическому образу, скользящему миражу, из которого они едва ли вышли, ещё не протрезвев. И тут сам инженер начинает отрекаться от своего гения, он снова берёт эту галлюцинацию и, так сказать, калькирует её, переводит, ставит на расстояние протянутой руки неверующих. Потом, в свою очередь, вмешивается опыт. Но на той необъяснимой стадии, в той таинственной точке, где чистое изобретение не продиктовано ни использованием, которое ему уготовило будущее, ни медитативной необходимостью, в тот миг, когда изобретение только появляется на свет, едва начинающая осознавать себя, когда оно чуть-чуть приподнимается, оно являет собой некое новое отношение, безумие, которое позже превратится в реальность. Загадка, аналогичная заре. Вы призываете на помощь понятие случайности, но это доказывает, что вы всего лишь пасуете перед запутанностью и случайностями самого воображения; однако вы прекрасно видите, что я способен их вообразить. Другое решение — частное применение общего закона — не лучше. Согласование изобретения и закона происходит последовательно, когда дух входит в свои права и утверждается. Знал

ли мелкий ремесленник, закрутивший первым вокруг оси с орнаментом красную рыбку металлического полукруга, вращение которого образует удивительный бокал сияющей и настоящей воды, знал ли он о стойкости впечатлений, отложившихся на сетчатке глаза? И думал ли он о своих доходах? Я осмелюсь предположить, что он был одержим идеями движения и воды — действующей метафоры, в которой сочетались браком прозрачность и отблеск.

Абстрагировать и изобретать — действия, совершенно противоположные друг другу. Изобретение может быть только в сфере частного. Я всё больше убеждаюсь в верности этих предположений. Но меня сдерживают распространённые ложные представления об абстрактном, конкретном и различных других способах познания. Надо сказать, что некоторые умы, лучшие умы, прекрасно поспособствовали смешению этих понятий. В отличие от моей точки зрения, возобладаало парадоксальное мнение: обыденное познание абсолютно конкретно и, следовательно, абстрактное является прогрессивным шагом вперёд по сравнению с ним. Итак, если я анализирую идеи, сформированные мною относительно любого предмета, когда мне это заблагорассудится, я всегда нахожу подходящее слово. Противопоставление научного и обыденного познания — ошибочно, ибо они оба почти одинаково абстрактны и различаются лишь тем, что научному познанию удалось избавиться от некоторых безосновательных мнений, которые перегружали первичную абстракцию при её рождении. Философское познание, если таковое действительно заслуживает этого названия, действует иначе: объекты, идеи представляют собой вовсе не пустые абстракции или смутные мнения, но они обретают некое абсолютное содержание, когда реализуются в сфере особенного, при своём минимальном распространении; то есть речь идёт об объектах и идеях в их конкретной форме. Нетрудно заметить: это не что иное, как образ, который и есть способ познания поэтического, ибо поэтическое — это способ познания. В

этом смысле философия и поэзия — одно и то же. Конкретное — это последний момент мысли, подобное состояние конкретной мысли и есть поэзия. Можно легко понять, что я подразумеваю под формулой «изобретение возможно только в сфере частного»: конкретное является самой материей изобретения, а механизм изобретения сводится к механизму поэтического познания, то есть к вдохновению.

Обыденное познание происходит в соответствии с некими постоянными отношениями и сопровождается суждением о тех абстракциях, которыми она манипулирует: это суждение есть реальность. Однако идея реального чужда всякой истинной философии. Было бы безумием приписывать конкретному понятию то, что свойственно абстракции, которую считают идеальной с точки зрения духа. Отрицая реальное, философское познание устанавливает прежде всего новое отношение внутри своего материала — это отношение ирреального: и тогда изобретение, например, сразу передвигается в область ирреального. Потом оно, в свою очередь, отрицает ирреальное и преодолевает обе эти идеи, воспользовавшись последним средством, благодаря которому они одновременно отрицаются и утверждаются, что примиряет и поддерживает их: это последнее средство — сюрреальное, которое представляет собой также одно из определений поэзии. Итак, изобретение — это установление сюрреального отношения между конкретными элементами, механизмом изобретения является вдохновение. Возможно, вы уже знаете, что поиск сюрреального, методы утверждения его доминирующей роли приняли в повседневном языке имя сюрреализма. Немного поразмыслив, вы научитесь различать, какие изобретения являются чисто сюрреалистическими. Сюрреальная природа установленного отношения в некотором смысле очевидна, несмотря на деформацию с точки зрения практического применения. Подобные изобретения хранят следы различных моментов жизни духа и его исканий: размышление над реальным, его отрица-

ние, его примирение и абсолютный посредник, объединяющий рассмотрение, отрицание и примирение. Философские изобретения — предмет постоянных острот со стороны черни, которую разочаровывают противоречия, она даже изобрела смех, чтобы с честью выходить из положения в присутствии противоречий. Это тот юмор, что фальшиво позванивает колокольчиками в человеческом стаде. Однако есть и другой юмор: юмор как определение поэзии, в том случае если она устанавливает сюрреальное отношение в его полном развитии. Именно это свойство юмора, вероятно, и делает изобретение сюрреалистическим. Следовательно, в подобном изобретении поражает вовсе не его полезность, которая не способна объяснить сюрреального; полезность только ещё больше нас запутывает, тем более что сама постепенно сходит на нет. Такое изобретение невозможно передать и через понятие игры. Игра не подходит: игровая деятельность не способна удовлетворить породивший её ум. Прекрасно понимая ход игры, ум не способен отделиться от её тайны, он завяз в области странного, как в болоте, он больше не верит в порождённую им игру.

.....

Отличительные признаки подобной изобретательной выдумки, способной изменять свой темп, функции своих элементов, направляя их к неформулируемой цели, во имя торжества этого юмора, что представляется только для дураков внешне противоречивым и порой даже смешным, — я нахожу эти признаки в целом ряде манёвров, ставящих под вопрос значение небольших привычных объектов и никогда не бывших поводом для скептицизма. Таковы предметы нашей общественной игры, например: носовой платок, спичка, верёвка, ключи... которые не вызывают ни смеха, ни слёз, мы почти не смотрим на них, лишь изредка берём в руки, и первоначально они кажутся безразличными духу. И я брошу вызов тому, кто посчитает возможным анализировать заключённый в них разумный интерес. Это чистые продукты воображения, это

само воображение, а значит, они должны ускользать от разума. Так, установленная на тротуаре спичка подобно комете запускается в комнату одним-единственным щелчком; а если три спички поставить портиком на спичечную коробку и зажечь посередине поперечную спичку, то вся конструкция полетит, и т. д. Чистые изобретения, для которых никто не ищет ни утилитарного применения, ни даже иллюзии применения, и являются непосредственным воплощением сюрреалистического юмора вне его специальных мизансцен. Это не игры, но философские деяния первой величины. (В первую очередь, отрицается реальность спички как спички, утверждается её ирреальность, и эта спичка, следовательно, может быть чем угодно другим — деревом, ракетой, песенкой; далее, её применение можно извратить, вывернуть, и она будет относиться к сфере деятельности, которая не известна сама себе, это будет новое, неопределённое, само себя изобретающее, то есть сюрреальное применение, и именно тогда возникнет иллюзорное объяснение этого факта как игры, примиряющей противоречивую суть спички для внешнего наблюдателя, однако это объяснение должно на самом деле уступить дорогу поэзии, единственной правдоподобной интерпретации этого щелчка — вон из реальности.)

Мишель Лейрис
**АВАНТЮРНАЯ ЖИЗНЬ
ЖАН-АРТЮРА РЕМБО³**

Я не представляю себе, чем может быть поэзия, если не проявлением сущностного бунта человека против абсурдных законов универсума, в который он заброшен, разумеется, против воли. Одни будут истощать себя горькими жалобами на тоскливую жизнь, но это ещё не настоящий бунт: гложущая меланхолия не возбуждает в них желания разрушать. Иные попытаются систематически разрушать в своей душе все понятия, которые способны были бы привести к действию: любое действие, по их мнению, требует хотя бы минимального оптимизма, прагматизма, благодаря которому мы судим о вещи по её результатам. Всё это, как и всё прочее, вызывает необходимость бунта, ибо уступка означала бы приятие. Уступающие навечно останутся в бездействии, они печальные школяры, отданные в жертву комарам и всем насекомым компромисса, заранее побеждённые на всю оставшуюся жизнь всевозможными Вилами Кадиума; и всё потому, что они не сумели осознать, что необходимо выбрать минимальное поражение (если это можно назвать поражением); оно менее постыдно, ибо способно породить максимум разрушения под угрозой подвергнуться другим, и более суровым, разрушениям. Некоторое время человек будет верить, что поэзия — это самое реальное выражение бунта. Он считает, что сможет отстраниться от материального мира, оставаясь с ним связанным только смутной магической тка-

³ 1926. Перевод с французского Елены Гальцовой.

нью слов, нарушая привычные отношения, заставляя двигаться одни и те же слова, конструируя новый мир подчас по образу своему... Он думает, что ему удалось разбить все цепи, отбросить все формы приятия. Он забывает только, что его система по-прежнему подчиняется условностям языка (самой подавляющей условности), а материальный мир всегда остаётся здесь, в многообразной роскоши отбросов.

Однако обычно это ослепление длится не долго. Поэт ссорится с идеями, фразы и слова тотчас же показывают ему, сколь тяжелы были взятые обязательства и насколько смехотворным и нереальным было то воздействие, которое он пытался оказать на универсум посредством слов. Поэзии окажется недостаточно, чтобы насытить его бунт, тогда он повернётся к миру и будет искать, как упразднить его ненавистные законы.

Если он живёт в такую эпоху или в такой стране, где верят ещё в силу магии, он станет колдуном или некромантом, он подпишет союз с адскими силами, чтобы навязать земному миру своё господство. Если, напротив, «просветители» его времени помешают ему всерьёз воспользоваться этими истоками, он займётся рациональным составлением плана своей тюрьмы, стремясь понять, в какой степени он может стать её хозяином.

Сначала он поймёт, что изменить физические законы невозможно. Прежде галлюцинации могли бы дать ему иллюзию метаморфоз, но теперь он хорошо знает, что после пробуждения остаётся и сила тяжести, и биение его сердца, и буйство крови. Он захочет отыграться на второй серии законов, рабом которых он является: на законах общества. Безмерное давление восстановит его против дурацких законов, придуманных людьми для принуждения, он станет ликантропом, анархистом, бунтовщиком против всех социальных отношений, которые навязывают его личности. Он вообразит себе, что может потрясти это иго и разрушить его, — ещё одна утопия, ибо законы неизбежно

разрушат его самого и он не сможет подорвать их твердыни.

Понимая, что индивидуальный бунт приведёт лишь к саморазрушению, человек отказывается от него, ничего не изменив, то есть ничего не разрушив в мире. И тогда он обращается к социальной революции, единственному эффективному пути осуществления своего бунта, единственному средству передвинуть ценности. Он поймёт, в каком мировом катаклизме он будет участвовать, если станет на сторону униженного большинства в неизбежной борьбе против меньшинства поработителей. Пусть с точки зрения абсолюта подобное потрясение не так уж и значительно, но по крайней мере одному человеку это уже много, и этого, разумеется, достаточно для конкретизации чувства бунта: из неясного и абстрактного это чувство стало точным, ощутимым, и это уже способно добавить хотя бы ещё одну морщинку на лице универсума. Только Революция может освободить нас от гнусности мёртвого груза пережитков. Это свободно выльется в тотальное обновление отношений человека к человеку. Мотивы более чем достаточные, я полагаю, для того, чтобы каждый истинный поэт следовал им душой и телом.

Всё это, возможно, не имеет отношения к книге Жан-Мари Карре о жизни Рембо.

Артюр Рембо, «французский поэт и путешественник», — читаем в словаре Ларусс. Я добавляю: и революционер...

Вся истинная поэзия неотделима от Революции.

а р х и в

Эмиль Мишель Чоран ГОГОЛЬ⁴

Шесть десятилетий прожив во Франции и полностью перейдя на французский язык, больше того, составив гордость этого языка и литературы, причем в самых французских жанрах — эссе и афористике, французской (как, впрочем, и любой иной) словесности Эмиль Мишель Чоран (1911-1995) однозначно предпочитал русскую. Родившийся в трансильванской глуши сын православного священника и подданный австро-венгерской короны, он вообще всю жизнь хотел быть другим и при этом чаще всего, опять-таки, русским. В русской прозе Чоран выделял для себя линию «перегоревших» романтиков, байронических героев от Печорина до Ставрогина, а чаще всего перечитывал и цитировал Лермонтова и Гоголя, Достоевского, Чехова и Блока. Гоголь — единственный из его любимцев, кому посвящено отдельное эссе, оно вошло, пожалуй, в лучшую, наиболее зрелую книгу писателя «Соблазн существования» (1956). Парадоксалист Чоран ищет в образе и наследии своего избранника именно противоречий и на нескольких страничках опрокидывает многие устоявшиеся стереотипы суждений о Гоголе, в частности, о смысле его самоубийственного шага — уничтожения второго тома «Мертвых душ».

Борис Дубин

⁴ Журнал «Зарубежные записки», № 19, 2009. Перевод с французского Бориса Дубина.

Некоторые свидетельства — надо признать, редкие — представляют его святым; другие, более частые, — привидением. «Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, — писал Аксаков наутро после кончины Гоголя, — что я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь».

Мучимый холодом, который его никогда не покидает, он не перестает повторять: «Я зябну, я зябну». Он переезжает из страны в страну, советуется с врачами, перебирается из лечебницы в лечебницу — от внутреннего оледенения не избавляет никакой климат. О его любовных связях ничего не известно. Биографы открыто говорят об импотенции Гоголя. Такой дефект тем более отделяет от людей. В импотенте есть внутренняя сила, отличающая его от остальных, делающая недостижимым и, как ни парадоксально, опасным: он внушает страх. Животное, порвавшее с животным началом, человек без потомства, жизнь, из которой ушел инстинкт. Импотент черпает силу в том, что утратил: он в первую очередь становится жертвой духа. Вы можете себе представить импотенцию крысы? Грызуны — отменные мастера размножаться. Иное дело — люди: чем они исключительнее, тем мощнее в них проявляется главный изъян, вырывающий их из родовой цепи. Им доступна любая деятельность, кроме той, что роднит нас с животными. Секс уравнивает всех, больше того — он лишает нас тайны... Именно он, как ничто другое из людских потребностей и начинаний, ставит нас на одну доску с ближними. Чем больше мы предаемся сексу, тем больше походим на прочих. Именно в занятиях, именуемых скотскими, обнаруживаются наши качества граждан: нет ничего более *общественного*, чем половой акт.

Воздержание, будь оно добровольным или принудительным, ставит индивида то ли ниже, то ли выше рода человеческого, делая из него помесь святого и

слабоумного, которая притягивает и поражает других. Отсюда та двусмысленная ненависть, которую испытываешь к монаху, как, впрочем, к любому мужчине, отказавшемуся от женщин, отказавшемуся быть *как мы*. Ему никогда не простят его одиночества: оно унижает нас, поскольку отвратительно, оно бросает вызов. Удивительное превосходство ущербных! Гоголь однажды признался, что, поддайся он любви, она бы «тут же стерла его в порошок». Это переворачивающее и завораживающее нас признание напоминает «тайну» Кьеркегора, его «жало в плоть». Однако датский философ был натурой эротической: разрывы с невестами, неудачливость в любви мучила его всю жизнь и оставила след даже на богословских сочинениях. Может быть, стоило бы сравнить Гоголя со Свифтом, еще одним «испепеленным»? Но тогда мы упускаем из виду, что Свифту случалось если не любить самому, то, по крайней мере, делать других жертвами любви. Хотите определить Гоголя — представьте себе Свифта без Стеллы и Ванессы.

Существа, живущие перед нами в «Ревизоре» и «Мертвых душах», замечает биограф, — совершеннейшее «ничто». Но, оставаясь «ничем», они — «всё».

Им недостает «материальности», отсюда их всеобщность. Кто такие Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев, Манилов, герой «Шинели» или «Носа», если не мы сами, сведенные к нашей сути? «Никчемные душонки», — пишет Гоголь, однако они достигают известного величия, величия пустоты. Гоголь — Шекспир мелкотравчатости, Шекспир, не устающий наблюдать за нашими страстишками, пустяковыми наваждениями, будничными перипетиями. Никто глубже Гоголя не вгляделся в повседневность. Его герои до того реальны, что превращаются в несуществующих и становятся символами, в которых мы полностью узнаем себя. Они не унижены, они были низкими с самого начала. Тут нельзя не вспомнить «Бесов». Но если герои Достоевского стремятся выйти за любые пределы, то гого-

левские персонажи съеживаются до отпущенных им границ; первые как бы отвечают на вызов того, что их превосходит, вторые послушны лишь своей бесконечной тривиальности.

В последние годы жизни Гоголя мучили сомнения: у него не выходило из головы, что он живописал одни пороки, пошлость, грязь. Должно быть, он мечтал наделять своих героев добродетелями, вырвать из ничтожества. В таком настроении был создан второй том «Мертвых душ»; к счастью, Гоголь бросил его в огонь. Гоголевских героев нельзя «спасти». Этот жест приписывают безумию, тогда как он порожден угрызениями его художнической совести: писатель победил пророка. Мы ценим в нем беспощадность, презрение к людям, образ проклятого мира — каково нам было бы видеть вместо этого назидательную карикатуру? Кто-то скажет о невосполнимой потере; скорее ее можно назвать целительной.

Перед концом жизни в Гоголя вселяется какая-то темная сила, с которой он не может справиться. Он впадает в летаргию, иногда она перемежается судорогами — судорогами призрака. Чувство юмора, которое помогало ему не подпускать «приступы тоски» слишком близко, улетучивается. Настают горестные дни. Его покидают друзья. Безрассудно опубликовав «Выбранные места», он, по его собственным словам, ответил «оплеуху публике, оплеуху друзьям и оплеуху себе самому». Его отвергли и славянофилы, и западники. Его книга — прославление власти и крепостничества, реакционная галиматья. К несчастью, он еще связался с неким отцом Матвеем, человеком глухим к искусству, тупым, агрессивным, который стал ему исповедником и палачом. Его письма Гоголь носил на теле, читал и перечитывал — лечение глупостью и идиотизмом, рядом с которым паскалевский совет «не уминовать» — невинная шутка. Когда художнический дар Гоголя иссякает, его праздным воображением завладевают бредни духовника. Воздействие отца Матвея оказалось

сильнее пушкинского: Пушкин поощрял гений писателя, отец Матвей постарался заглушить его последние вспышки... Не удовлетворившись проповедью, Гоголь хотел еще и наказать себя: его искусство придавало потехе, гримасе всемирный смысл — теперь это должно было отозваться религиозными муками.

Кто-то скажет, что его страдания были заслужены, что ими он искупил свою дерзкую попытку исказить образ человека. По-моему, скорее наоборот: ему пришлось заплатить за то, что он разглядел правду, ведь в искусстве искупают не ошибки, а «удачи», то, что увидели вдруг в полную силу. Гоголя преследовали его герои, все эти Хлестаковы, Чичиковы, которых он, по собственному признанию, всегда носил в себе: эти недочеловеки его раздавили. Он не спас никого из них — он не мог это сделать как художник. Потеряв дар, он захотел спастись сам. Герои ему этого не позволили. Так он был вынужден, вопреки себе, сохранить верность их ничтожеству.

Тут думаешь не о герцоге Орлеанском (про которого Сен-Симон сказал, что он «уже родился скучающим»), не о Бодлере или Екклезиасте, даже не о чувстве никчемности дьявола, окажись он в мире, где не существует зла, — а о человеке, чьи мольбы обернулись против него самого. Скука у Гоголя обретает достоинство мистики. «Любое абсолютное чувство религиозно», — писал Новалис. С годами скука заменила Гоголю веру и стала его абсолютным чувством, его религией.

Вадим Климов
ЖЕНЩИНЫ И СОБАКИ

Позавчера, не желая продолжать разговор с Кларком, я вернулся в каюту, но какой-то толстый червяк, кажется скорпион, выполз из щели в полу, смотрел на меня битый час, шевеля усиками, а потом ни с того ни с сего свернулся в клубок и выпрыснул себе свой яд — покончил с собой. Я слышал, это у них в порядке вещей, у перепончатокрылых. Но зачем он выполз ко мне? Не мог управиться в щели? Я притворился, что не вижу его. На берегу тоже встречаются иногда собаки или женщины, но все же там побольше деликатности, и никто не будет специально выползать к кому-то, чтобы показать себя.

131

*Витольд Гомбрович***1. Химия и физика**

В старших классах школы было два учителя, резко отличающихся от остальных. Это были молодые люди, веселые и остроумные, которые с удовольствием выходили за рамки преподавания.

Учительница химии вела предмет уверенно, но без репрессий — со своеобразной мягкой строгостью. Это была действительно красивая и обворожительная молодая женщина, сразу всех очаровавшая. И мальчиков, и девочек. Иногда в конце урока она даже пела нам под гитару.

Учитель физики располагал к себе чувством юмора и казусной для нас лексикой вроде «то бишь», «не суть» и тому подобного. Он прекрасно разбирался в предмете и способен был доступно объяснить трудные моменты.

Но кроме этого физик объяснял нам еще и нефизические вопросы, касающиеся жизни и учебы вообще. Это всегда было интересно. И уже после я понял, насколько четок был молодой преподаватель в формулировках и постановке проблем.

Чуть позже два эти учителя поженились. Они никак не демонстрировали свою связь перед свадьбой, поэтому для всех нас это стало сюрпризом.

Однако совсем скоро от былой веселости и остроумия не осталось и следа. Молодые учителя становились все более мрачными, а затем и озлобленными. Пропали песни под гитару, очарование и мягкая строгость. Изысканная лексика становилась все более черной, а юмор — висельным.

Объединение столь прекрасных людей не пошло им на пользу. Совсем даже наоборот. Что мы с недоумением и наблюдали. Математическое «минус на минус дает плюс» здесь трансформировалось в парадоксальное «плюс на плюс дал минус».

Жирный физико-химический минус.

а. Близнецы

Однажды, проходя мимо собачников с пекинесами, которых я терпеть не могу, ухватил фрагмент зачатной беседы.

Одна из собачниц, тыча в двух своих собачонок, утверждала, что они близнецы: такими, мол, родились. Меня это заинтриговало: собаки одной породы и так копии друг друга, а тут еще специально обговаривается, что они близнецы. Вторая собачница показала на третьего пекинеса и поинтересовалась: а этот?

Этот оказался Водолеем. Водолей все вернул на место. Сумасшедшие старушки, совсем поехав на святой

воде, распространили великое учение и на собачек. Но если все Близнецы друг на друга похожи, то насколько похожи те пекинесы на Селина?

А может быть, учитывая, какое внимание французский писатель уделял упадку, а не расцвету, стоит отмерять знаки зодиака не по дате рождения, а по дате смерти? Или и то, и другое: Близнецы по рождению, Водолей по смерти. А у кого эти знаки совпадают, автоматически отправляется в рай.

Отдельные райские сектора для всех двенадцати знаков. Будут ходить друг к другу в гости и рассказывать про своих пекинесов.

2. Девочки из телефонов

Бывают такие девочки, которые живут исключительно в своих телефонах. Эти девочки могут быть разного возраста, самого разного пола и социального статуса, они могут быть красивыми или так себе, глупыми или умными, среди них попадаются пятиклассницы, манекенщицы, менеджеры и даже отцы семейств.

Главное, что объединяет всю эту пропасть девочек, это безудержная потребность в связи. Среда их обитания — мессенджеры, соцсети и прочая виртуальность. Поэтому девочки питаются лайками, комментариями, пустым трепом с преобладанием смайликов.

Девочки из телефонов — это новая версия тамагочи. Слегка доработанная и выпущенная по другую сторону экрана. То есть новый тамагочи теперь как бы сам хозяин девайса, но его поведение полностью совпадает с поведением тамагочи внутри девайса.

Это можно считать главным социальным достижением научно-технического прогресса. Искусственный интеллект родился не внутри программы — но программа перепрограммировала интеллект естественный, превратив его в искусственный.

Когда девочки куда-то приходят — в клуб, кинотеатр, на лекцию или в музей — они продолжают суще-

ствовать в своих телефонах, лишь изредка бросая рассеянные взгляды вокруг. Когда девочки встречаются друг с другом, они все равно исключительно в своих телефонах, могут обменяться за всю встречу парой ничего не значащих фраз и разбежаться.

Девочка из телефона, новый тамагочи, это и есть постчеловек, от которого ждали сверхспособностей, но видите, как все вышло... Согласен, глупо получилось.

В. Мальчик и Николай II

В 2000 году Русская Православная Церковь причислила к лику святых Николая II, что вызвало массу дискуссий. Против канонизации приводились разнообразные доводы, сходящиеся в том, что последний российский император был далек от образца для подражания, поэтому позиции в пантеоне святых не заслужил.

Чуть позже дотошные искатели истины обнаружили в дневниках Николая II записи об убийствах бродячих кошек. Кровожадный император ради развлечения истреблял их десятками и сотнями каждый день, принуждая слуг вести тщательный статистический учет этому развлекательному геноциду.

Иерархи РПЦ парировали аргументы против канонизации: Николай II был причислен к лику мучеников, рассмотрению подлежала не его жизнь, и правда весьма далекая от христианских норм, а страдальческая смерть.

В этой связи вспоминается памятник «Сочувствие». Монумент выполнен в форме почесывающей ухо дворняги. В 2007 году его установили в вестибюле станции московского метро Менделеевская, посвятив «гуманному отношению к бродячим животным».

Когда-то на означенной станции жила собака по кличке Мальчик. Это был агрессивный кобель, не пускавший других собак, часто нападающий на людей. Однажды его зарезали в подземном переходе, а потом на месте трагедии установили памятник.

Судьбы Николая II и бездомной дворняги Мальчика в современной оптике признания заслуг выглядят удивительно похожими. И тот и другой вели не самую безупречную жизнь, но мучительная смерть, настигшая обоих, поместила их в один пантеон.

Собака и последний император смотрят на нас одинаково пустыми глазами, даже хобби у них было одним и тем же — истребляли бродячих кошек. Николай II и Мальчик, кровавые мученики безжалостных современников... Если бы не их гибель, мы бы никогда не узнали, что такое святость и сочувствие.

3. Отчуждение

Несколько лет назад я встречался с одной дамой, фотографию которой использовал для обложки тогдашнего номера «Опустошителя». Он был посвящен отчуждению, что вполне соответствовало характеру этой фемины.

Это было отчуждение не прямое, так как модель оказалась привлекательной и очень общительной, а ментальное: из-за особенностей характера и скромных умственных способностей дама оказалась на необитаемом острове, она не собиралась понимать других, а другим не оставляла возможности понять себя, так как в ней нечего было понимать.

Фемина увлекалась психологией, читала тематические книжки и даже собиралась пройти какие-то курсы, но ничего из этого не вышло. Однако ей импонировало, что под ее портретом на обложке журнала я привел цитату Евгения Головина: «Там, где мы, там центр ада».

Хлесткая, по-юношески звонкая пощечина хорошим манерам, которая, казалось бы, совершенно не вязалась с улыбчивым гедонизмом моей подруги. Но ей задиристый апломб понравился, о чем дама и поведала мне, как сумела.

А сейчас мне пришло в голову, что этой несчастной дурынде понравилось совсем не то, что вкладывалось

в сентенцию Головиным, а практически обратное. Учитывая искренний интерес фемины к психологии в самом вульгарном ее проявлении, а также распространенную для представителей ее типа склонность к депрессии и моральным страданиям, признания своего положения центром ада — это просто общее место.

Нет, мол, ничего более горького и несправедливого, чем моя жизнь, мои невзгоды, несправедливость людей и провидения ко мне. Я и только я достойна поддержки и сочувствия, денег и славы, признания и обожествления. Но все, увы, складывается ровно наоборот.

Казалось бы, именно такая интерпретация Евгения Головина и должна была первой прийти мне в голову. А вместо этого я только удивлялся, как столь поверхностная и пошлая особа могла проникнуться к приведенной цитате благоговением.

у. Проблемы гносеологии

136

В Крыму живет взрослый пес алабай, воющий при колокольном звоне. Рядом как раз расположена церковь, поэтому пес воет каждый день. Как он приобрел эту привычку, неизвестно, потому что детство алабая прошло с другими хозяевами.

Недавно пес стал отцом, двух щенков оставили. Маленькие алабаи немедленно приобщились к отцовскому ритуалу. Заслышав звон колоколов, они подбегают к взрослой собаке и воют вместе с ней. Так воспитание сохраняет во времени все самое ценное из сокровищ предшествующей культуры.

Я не раз замечал, что знания, усвоенные без рациональных оснований, — самые твердые. Любые аргументы можно опровергнуть, а то, что укоренилось в сознании, минуя рассудочность, застревает навсегда.

Именно с этими сорняками и работают экстрасенсы с психоаналитиками. Если бы их не было, мы бы до сих пор бегали друг за другом и выли на церковные колокольчики.

4. Ахилл, догоняющий черепаху

У моей матери семь братьев и сестер, поэтому с самого детства я был обеспечен кузинами и кузенами в избытке. Правда, родственники были разбросаны по всей стране, в Москве, кроме нас жила только тетя моей мамы, но мы довольно часто ездили в гости и встречались.

Несмотря на такое разнообразие, Света — единственная двоюродная сестра, в которую я был влюблен. Она же стала единственной, кто перебрался в Москву, поступив в художественную академию.

Бенефисом нашего единения стала поездка в родной город Светы Когалым в Тюменской области. Три с половиной дня на поезде в один конец. Немыслимое дело: родители отпустили меня, двенадцатилетнего, с восемнадцатилетней сестрой в столь отдаленное место. До сих пор недоумеваю, как патологически осторожный отец решился на такой отчаянный шаг.

Когда я съехал от родителей, мы долго не общались с сестрой. Пауза длиной лет в семь. А потом она неожиданно пригласила меня на день рождения. Оказалось, что мы живем недалеко друг от друга, практически соседи. В гости к ней я почти не ходил, но раз в три года посещал дни рождения, которые Света любила проводить в парке у Покровского собора.

Год назад я переехал в дом, из которого виден и собор, и то место, где мы отмечали дни рождения Светы. Она к тому моменту успела построить дом в Новой Риге и перебралась в него. Я словно Ахилл, преследующий черепаху — догоняя, всегда чуточку отстаю.

Вчера побывал на очередном торжестве по случаю рождения Светы. 56 гостей самых разных цветов и размеров. Пообщаться удалось далеко не со всеми, я бы даже сказал, почти ни с кем. Но кое-что вынести из разговорного обжорства удалось, не считая эстетского удовольствия от приближения к великолепной сестре.

8. Оркестро

Мало кто знает, что когда-то Нобелевская премия не ограничивалась пятью номинациями (по физике, химии, физиологии или медицине, литературе и премией мира), была еще и шестая номинация — премия за исключительную деликатность.

В 1947 году эту премию в первый и последний раз присудили собаке по кличке Оркестро. Это был уже немолодой бездомный кобель, который никогда не имел хозяев и никогда не испражнялся прилюдно. Оркестро всегда делился пищей с другими собаками, а иногда и с людьми, оказавшимися в бедственном положении. Он не причинил вреда ни одному живому существу, даже когда сам становился жертвой агрессии.

Андре Жид, лауреат Нобелевской премии по литературе того же, 1947-го, года сказал в своей нобелевской речи: «Если существует такой пес, как Оркестро, то вся моя жизнь и все мои труды были бессмысленны». Он хотел отдать свою награду Оркестро, но Нобелевский комитет не позволил так поступить французскому писателю.

5. Грабли под названием «Марина»

Весной или летом 2018-го я познакомился со странной девушкой, интересовавшейся атеизмом. Она работала в какой-то глянцевой пустышке вроде GQ, великолепно выглядела и вдруг этот атеизм, причем самый архаичный с отсылками к трудам Фридриха Энгельса.

После недолгой переписки, девушка предложила встретиться. Выбрали кафе, время. Я пришел немного раньше, на входе меня спросили, на какое имя забронирован столик. Мария, сказал я, но этого имени в списке не нашли. Пришлось назвать телефон подруги — выяснилось, что она представилась Мариной.

Минут через пятнадцать подошла и подруга. Узнав о моей заминке, Марина призналась, что ей не нравится ее имя, поэтому она часто меняет его на Марию, но не всегда успевает сориентироваться.

Мы поговорили об атеизме, методологических основах науки, Селине, Марусе Климовой... Удивителен интерес рафинированных гуманитариев из модных офисов к наукам вроде физики...

Мы неплохо провели время, напоследок я подарил девушке сборник Бертрана Рассела «Почему я не христианин» и какую-то книгу Селина. После мы еще пару недель переписывались, девушка хотела снова встретиться, но никак не могла найти время. А мои предложения ей не подходили.

Поняв, что она пребывает в вечной нерешительности, я оставил попытки и предложил ей написать, когда она все-таки определится. Но момента ясности в голове гламурной атеистки так и не дождался. А жаль: девушка была хороша собой и весьма приятна в общении.

Забавно, что через несколько месяцев я сблизился с другой очаровательной девицей, которую тоже звали Мариной, она также стеснялась своего имени и называлась по-другому. Более того, была также в бесконечной растерянности, не в силах принять осмысленного самостоятельного решения.

Общение со второй Мариной затянулось много дольше, чем с первой, но и оно оставило меня в изнурительном недоумении. Вот вам и божественная шутка: чудом избежав одних граблей, я немедленно угодил в ловушку других, хотя все грабли назывались одинаково, выглядели и функционировали полностью идентично.

г. Предательство Рекса

Нам выделили комнату на втором этаже, которую немедленно облюбовал местный пес Рекс. Не спальню

хозяев, не детские, не комнату прислуги, а именно нашу.

Рекс уподобился помощнику из кафкианского «Замка»: готов был спать под дверью, как собака. Собственно, он и был собакой, которую моя спутница выпустила в комнату.

Пес выбрал сначала одно место, потом другое. Захрапел. А мы еще долго разговаривали в постели. Внезапно пес вскочил, издав испуганный вопль. Что-то нехорошее приснилось ему, и животное перебралось в другую часть спальни. Снова раздался собачий храп.

Совсем ночью спутница захотела спуститься вниз. Кажется, ее беспокоил торт, недоеденный с вечера. Мы наспех оделись и стали осторожно пробираться по крутой винтовой лестнице. Опустим времяпрепровождение на хозяйской кухне (скажу лишь, что я все же поинтересовался у девушки, разрешили ли ей вот так запросто таскать еду из холодильника и лазить по шкафчикам).

140

На обратном пути мы обнаружили Рекса на лестнице. Он сошел всего на несколько ступенек, но уже не мог вернуться обратно — нужно было добраться до самого низа.

Мы юркнули мимо обескураженного животного и заперлись в спальне. А через пару мгновений услышали глухой грохот и отборный мат Рекса.

— Все-таки мы его подставили, — сказал я, — а он так на нас рассчитывал.

Девушка вытерла сладкие губы салфеткой. Она так хотела спать, что даже любовь к собакам отошла на второй план.

Какой-то триеровский «Ноктюрн», подумал я. Ночь перед полетом... И Рекс, словно назойливая красная лампочка, мелькающая в каждом кадре. Рекс засыпающий... и Рекс, застревающий в ловушке винтового падения.

6. Сумасбродная жизнь Шапокляк

В квартире под моими родителями жила одна дамочка, для определенности назовем ее Шапокляк, которая разводила пекинесов. Когда я жил с родителями, она вечно торчала у подъезда со своими пекинесами, маленькими, злобными и шумными уродцами. Моя мать с Шапокляк дружила.

У дамочки имелось три самки и несколько самцов. Самки рожали два раза в год, что для них часто, поэтому некоторые соседи ругали Шапокляк — из-за ее жадности бедные роженцы ослабевали и выглядели несчастными. За каждого щенка Шапокляк брала \$400, поэтому простаивать самки не имели права.

Однажды у одной из самок родился черный пекинес. По законам бизнеса он считался бракованным, поэтому покупатели не захотели платить полную цену, но предложили \$300. Скупая Шапокляк уперлась и не скинула ни цента. В дальнейшем она за это поплатилась.

Черный пекинес, оказавшийся самцом, успешно портил популяцию, и потомство постепенно чернело, пока обычные рыжие щенки не стали редкостью. Затем пекинесы вообще вышли из моды, и покупатели исчезли, отказались даже приезжать смотреть на уродливых собачонок, будь они черные или рыжие.

По мере развала бизнеса Шапокляк стала выпивать и наружу вылезла темная черта ее характера. Оказывается, ей доставляло удовольствие вредить людям. Она всегда этим занималась, но обычно ловко скрывала следы. В нетрезвом виде скрывать следы удавалось гораздо хуже.

На деятельность соседки обратили внимание, когда некто разбрызгал в подъезде перцовый газ. Тогда не удалось определить преступника, но кто-то заметил, что на протяжении нескольких часов Шапокляк таращилась на улицу из своего окна, с интересом наблюдая за пострадавшими. Соседи вызвали милицию и МЧС, что только оживило происходящее.

После к перцовому газу Шапокляк не возвращалась, но стала разливать в лифте масло. Несколько человек поскользнулись — и многие попадали на пол.

Из-за какого-то конфликта Шапокляк невзлюбила мужичонку, жившего под ней со своей мамой и собачкой, тоже маленькой, но не пекинесом. Зная, что мужичонка обычно не берет с собой ключи, а звонит в дверь (его мама почти всегда дома), она прилепила к звонку иголку, о которую тот поранил палец. К тому времени все уже знали про Шапокляк, и мужичишке не составило труда догадаться, кто это сделал.

Но Шапокляк не оставила их в покое. Выждав момент, когда мать с сыном вместе покинули квартиру, она ринулась к их двери и вставила в звонок спичку, которая не позволяла кнопке вернуться в исходное положение. На протяжении нескольких часов гудел звонок, изводя бедную собачку, остервенело вывшую все это время.

Одну свою историю, в приступе хвастовства, Шапокляк поведала моей матери. У школы рядом с домом держали козу. Обычно она стояла привязанная к столбу и щипала траву. Шапокляк перерезала веревку, и коза устремилась на свободу, немедленно угодив под машину. Злобное нутро, побудившее Шапокляк к действию, в этом случае оказалось неотличимым от скудоумия радикальных вегетарианцев, выпускающих животных из зоопарков.

У Шапокляк имелся муж, здоровый толстый таксист. Как-то он вернулся домой пьяный с пневматическим ружьем. Весь вечер они провели у окна, стреляя по выгуливаемым собакам. В запале даже повредили раму своего окна.

На следующий день таксист протрезвел, ему было неловко перед соседями и их питомцами. А его супруга чувствовала себя превосходно. Затем Шапокляк судили. Но не за стрельбу.

Возвращающийся с работы сосед увидел, как она бросила из окна большую тарелку на крышу иномарки, которую недавно купил приятель соседа. Подняв-

шись к себе, он вызвал полицию. В течение четырех месяцев суд разбирался в случившемся (Шапокляк во всем созналась, как только приехали сотрудники) и приговорил Шапокляк к возмещению ущерба.

Некоторое время после суда дамочка провела тихо, но затем окончательно распоясалась и стала нападать на мужа, огромного таксиста. Тот вынужден был сдать супругу в психиатрическую лечебницу, в которой Шапокляк лечили, привязывая к кровати. После лечения ее выпустили обратно.

У Шапокляк нет больше пекинесов. Все свое время она проводит дома в компании с алкоголем. Лишь изредка выходя к подъезду поболтать с соседями. Пришельниц у нее немного, но здесь уже ничего не поделять.

Шапокляк рассказывает, как скучает по щенкам за \$400. Хорошие были щенки.

ζ. Литературная аллюзия

Два прохожих с собаками приближаются друг к другу. Собаки истошно лают, пытаются сорваться с поводка. Прохожие сконфуженно улыбаются, с усилием оттягивают собак. Наконец, пары расходятся, люди могут перевести дух. И собаки тоже: каждая вышагивает рядом с хозяином, гордая, что сумела защитить его и себя, не сплеховала.

Таковыми собаками мне и представляются литераторы и другие люди искусства. Если, конечно, они не совсем бездуховные скоты, думающие лишь о собственном признании. Нет, литераторы — все те же бедные псины, по недомыслию считающие, что делают что-то полезное для кого-то.

7. Новые Ромео и Джульетта

Сегодня мы поговорим о том, как наши интенции не совпадают с действиями, ими обусловленными.

Протрепачем это на примере одной моей приятельницы Ксюши.

Представьте потасканную бездельем и алкогольной зависимостью домохозяйку 40+, ленивую настолько, чтобы не затевать никаких перемен и довольствоваться уже имеющимся. Скука, нескончаемая депрессия и череда панических атак.

Так вот, в черепной коробке дамы сохраняется еще какое-то количество мозга, который способен артикулировать. На гедонистическом уровне Ксюша так обозначает свои жизненные ориентиры: секс, алкоголь, юмор.

Ксюша пристегнута к мужу, никак не отвечающему заявленным ориентирам. Они не занимаются сексом, он терпеть не может спиртное (особенно в сочетании со спутницей-алкоголичкой) и вряд ли преуспел в так называемом юморе.

Пару лет Ксюша была прилеплена к любовнику Смолину А. И тот, что совсем уж смешно, так же, как ее муж, далек от алкоголя и юмора. А сексом, мне кажется, Смолин занимается прямо в брюках. Помните клиента борделя из “Дневной красавицы” Бунюэля? Который с жужжащей мушкой в бутылочке? От него разбегались все проститутки. Это и есть Смолин.

Бедняга Ксюша изнывает из-за отсутствия плотской близости — ее нет ни с супругом, ни с любовником. Ксюша пытается преодолеть дефицит, вешаясь каждому встречному на шею, уединяется в туалетах, шмыгает за углы. Алкоголь лишь усугубляет ее влажность, делая совсем неприличной.

Но никаких результатов настойчивость Ксюши не дает. Она все также одинока и неудовлетворена. Блестяще выразив свои желания, Ксюша нисколько не приблизилась к их достижению.

Вы скажете, что она — всего лишь баба, чего с нее взять. Но нет, кроме Ксюши есть и ее любовник Смолин, который отчаянно жаждет жениться на Ксюше, обзавестись семьей и детьми. Избрать для этих целей спившуюся фрустрирующую домохозяйку за сорок...

представляется мне смелостью, граничащей с безрассудством. И ведь Смолин — не баба, как Ксюша, а биологический самец со всеми вытекающими последствиями.

Однако его намерения точно так же расходятся с действиями. Оплодотворение, не спуская брюк, самка на грани лечебницы, тотальная несочетаемость, в том числе в отношении потомства.

Бог мой! Феминистки хоть в чем-то победили: оказывается, идиотизм не зависит от гендера. Как приятно опроститься симультанно с женщиной. Ксюша и Смолин — новые Ромео и Джульетта.

η. Пара слов о счастье

У владельцев породистых собак, живущих в частных домах, есть примечательная практика. Когда в районе травят крыс, они пускают на свой участок бездомных псов. Но не для того, чтобы уберечь их от травли, а совсем наоборот.

Счастливые своим новым статусом, дворняги бегают по участку и с гораздо большей вероятностью сожрут случайно залетевшую отраву, нежели привыкшая к сытой жизни хозяйская собака.

Так смерть одних продлевает жизнь других.

Этот промежуток от осознания своего взлета до стремительного падения и называется счастьем.

8. С психоаналитиком не страшно

В сети живет одна дама, возможно, вы ее знаете, а может быть, и нет, которая решила высказаться на популярную тему всеобщей слежки. Джордж Оруэлл приучил обывателя к страху, что он кому-то нужен, кроме горстки близких людей.

Дама поведала публике, что держит телефон всегда в таком положении, чтобы он никогда не снимал ее саму. А глазок камеры на ноутбуке и вовсе заклеивает

пластырем, отклеивая исключительно для бесед со своим психоаналитиком (sic!).

Кажется, здесь все так гармонично сплелось, что лучше и не сформулируешь. Экзистенциальная неудовлетворенность, социальная паранойя, техническая безграмотность и вдобавок психоанализ.

Бояться подсматривающих глазков и вести психоаналитические беседы по скайпу — все равно как поместить себя в стальной кокон чопорности и ходить справлять нужду за кусты у оживленной улицы.

А ведь и правда...

Когда-то, в позапрошлой жизни, я решил прогуляться с подругой в районе университета, законченный парой лет ранее. Было часов пять вечера, но в это время года уже смеркалось.

Девушке срочно понадобилось справить нужду. Она не смогла бы дотянуть ни до одного институционального туалета. Тогда я отвел ее за какую-то одноэтажную техническую постройку, где подруга и присела, укрытая от посторонних глаз.

Однако это была лишь видимость. С другой стороны постройки, где девушка и решила справить нужду, открывался вид куда более грандиозный. Буквально в паре десятков метров расположилась остановка троллейбуса с кучей студентов.

И вот, совершенно выбросив из головы контекст, я заметил среди студентов приятеля, с которым давно не виделся. И немедленно его окликнул. Разумеется, обернулся не он один, а вся остановка, застав девушку в столь пикантном положении.

Примерно так мне представляется изначальная дама (с психоаналитиком), оберегающая свою конфиденциальность. И отклеивающая пластырь на глазке камеры, только чтобы провести очередной сеанс психоанализа.

8. Голод

Детство не бывает счастливым или несчастным, оно всегда двойственно. Фортуна кровавыми пятнышками проступает поверх покрывала злоключений. И наоборот. Уже позже, когда человек деревенеет, утрачивает легкость восприятия, перипетии жизни слипаются в единый ком неопределенного цвета, а в детстве человек еще различает нюансы.

Я вспоминаю, как мы проводили с младшим братом лето на даче. Которую мы ненавидели, во многом благодаря бестолковости родителей, сделавших пребывание на даче обязательным. Они оставляли нас на неделю, а сами уезжали. Казалось бы, куда уж лучше, но свобода перемешивалась с тюрьмой. Нас обрекали на свободу, подобно сартровским гиньолям.

С нами жила небольшая собачка. Из каких-то абсурдных соображений денег на еду нам оставляли совсем немного. Их с трудом хватало нам с братом, а вот собаке... собачке приходилось туго.

Когда брат шел в гости к друзьям, она непременно бежала за ним. Первое, что делала псина, оказавшись на чужом участке — отыскивала мусорку, переворачивала ее и смотрела, что из этого можно съесть.

Так она вела себя всегда, пока мама одного из наших приятелей не догадалась о причинах и не начала подкармливать собачку. Выглядело все это жутко и комично. Что тогда, что сейчас.

Не удивлюсь, если откуда-нибудь вылезет ворчливая деревяшка, которая поведает о бесчеловечном обращении с животными. Гори в аду, скрипучая деревяшка. А мы будем тыкать в тебя прутиками детской непосредственности.

9. Биология

Уроки биологии в девятом классе вела миниатюрная учительница лет сорока. Она относилась к тому типу женщин, которые всю жизнь напоминают не-

складных мальчиков-подростков, и даже прическу носила соответствующую.

Рассказывала она увлекательно и учительницей была хорошей. Когда мы добрались до половых функций человека, она сразу предупредила, что, в отличие от некоторых других преподавателей, не испытывает никакого стыда и будет рассказывать все как есть — без купюр и умолчаний. А если кому-то такой подход кажется излишне откровенным, он может пропустить эти уроки и изучить тему самостоятельно по учебнику.

Никто, что удивительно, советом не воспользовался. Ханжество моих родителей не позволяло даже рассказать им об этой забавной ситуации. Отца обязательно что-нибудь бы да оскорбило или вывело из себя.

Очарованию предмету биологии добавляло и то, что учительница не переставая что-то ела. Я уже не помню, как она объяснила свою особенность, в памяти остался лишь ее образ, фланирующий между рядами парт с бутербродами в желтоватых салфетках. И учительская речь, почти всегда с набитым ртом.

К биологии я не испытывал никакого интереса и мало что сохранил со школьных времен. Запомнил разве что замысловатый фокус, который, по мнению преподавательницы, уберегал от любых простудных заболеваний. Нужно было набрать в рот воды, а потом каким-то образом выпустить ее через ноздри. Самые пакостные простудные микробы, засевшие в этом перешейке, вымывались, исключая заболевание.

А половая функция в анатомической оптике так и осталась для меня загадкой. Слепым пятном, намертво спутавшимся с жующей учительницей-подростком.

1. Мотя, Матильда

В детстве я мечтал о собаке, но родители отказывались ее заводить немедленно, откладывая на будущее, которое постоянно отодвигалось. Наконец, когда я потерял к собакам всякий интерес, мама подобрала

отвратительную маленькую собачонку — помесь неприятной полудекоративной породы с дворнягой.

С этим недоразумением я даже гулять стеснялся, но мне почти и не доводилось этим заниматься. Гуляли все, кроме меня. Как-то я наткнулся на отца, прохаживающегося у дома с нашей собакой.

Отец тогда носил импозантное кремовое пальто, великолепно сочетающееся с безразмерными голубыми джинсами, изорванными в клочья в районе ботинок. Отец был коротконог и постоянно подворачивал джинсы, но это никогда их не спасало.

Собачонка, конечно, неплохо дополнила его образ. Звали ее соответственно — Мотя, Матильда. Так вот, когда Мотю только подобрали на улице и привели в дом, отец встал у входа в гостиную, движением пятки обозначил линию порога и сказал собаке: дальше этой линии ей заходить нельзя.

Удивительно, но в присутствии людей Мотя действительно не заходила в комнату. Разумеется, на диване не находили ее белую шерсть, то есть, оставаясь в одиночестве, она любила на нем лежать, но не в присутствии хозяев.

Хвастаясь необычайными умственными способностями Моти, мама всегда рассказывала эту историю с обозначением границы. Животное уяснило все с полуслова — не каждому взрослому человеку такое под силу. Гости с уважением глядели на собачонку, которая лежала на пороге гостиной и ждала объедков.

Недавно мне пришло в голову, что мамины рассказы скорее всего уязвляли отца. Ведь ситуацию можно рассмотреть с двух ракурсов. Собачница-мать видела исключительно сообразительность собаки, в то время как гуманист отметил бы в первую очередь дар внушения отца, который так запросто привил собаке хорошие манеры.

Однако отец остался в тени заслуг Моти. Полагаю, это угнетало его всю жизнь. Особенно то обстоятельство, что о своих чувствах нельзя было никому рассказать.

10. Тоже писательница

Анжелика, как и я, считала себя писателем. У нее даже была тоненькая брошюрка, смотревшая на вас ее портретом, стилизованным под страницу Instagram. Дама она была привлекательная и, как водится, капризная.

В повести из этой брошюрки Анжелика описала забавный эпизод, как она отдыхала на даче, общалась с соседями, регулярно приходя к ним в гости, а заодно писала эту повесть. И вот, одним вечером, соседи собрались, чтобы послушать, что получилось у писательницы.

Какого же было их удивление, когда они узнали, что Анжелика пишет не о том, о чем он читали в школе, а про них. Буквально использовала живых людей в своих малопонятных целях.

Кто-то из слушателей незаметно удалился, кто-то молчал, но нашлись и те, кто выразил свое возмущение публично. Автор, как могла, отбивалась от соседского негодования, пыталась объяснить, как работает писатель, точнее, она сама. И, мол, она никого не хотела обидеть, ни в коем случае.

Ей не поверили.

Я улыбался, читая об этом. Но вскоре настал и мой черед оправданий. Прочитав мой роман «Спутники», Анжелика осталась крайне недовольна тем, как мой герой обращается с дамами, какого он о них мнения.

Но ведь это литература, парировал я, здесь многое, если не все, придумано. Нет, отрезала писательница, если так с дамами поступает мой герой, значит, так с ними поступаю и я, его автор. Дыма без огня не бывает.

Я напомнил дачнице о ее затруднениях с соседями примерно того же рода. Не того же, уверенно заявила она, это совсем, СОВСЕМ другое.

Совсем скоро, буквально на следующий день, мы поссорились, и на этом наше общение прекратилось. Писатель не вынес писателя.

к. Metalhead

Видел вчера на задворках города поверженную коляску из супермаркета. Она лежала на боку вдали от всяких магазинов... опрокинутая, но не побежденная. Люди и руины прямо.

Вспомнилась собака из «Black Mirror». Практически неубиваемое существо, преследующее и карающее девиантов частной собственности. Metalhead будущего без всяких атавизмов вроде морали или эмпатии.

Коляска из супермаркета тоже почти вся металлическая. Это сейчас она почти ничего не понимает, но вы и оглянуться не успеете, как она превратится в собаку «Черного зеркала», способную взламывать любые замки, управлять автомобилем, настигать и карать.

Наше эсхатологическое будущее — это технология ненависти, а не любви. Любовь устаревает на глазах, она умрет вместе с последним лузером.

Будущее принадлежит metalhead и безграничной ненависти. На его знамя мы водрузим машину для убийства в виде продуктовой коляски, давящей детей, стариков, инвалидов, беременных теток, девиантов и прочий балласт цивилизации.

Будущее увлекательно, небезопасно и неорганично. В нем циркулирует информация, а не живые люди.

Март, 2026

extremum

Шарль Моррас **БУДУЩЕЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ⁵**

Рене-Марку Ферри

Предисловие

I

Никто не может похвастаться по-настоящему удовлетворительным и достоверным знанием будущего. Предвидеть, хотя бы пытаться предвидеть, — вот страсть, которую мы получили от матерей с их беспокойством относительно нашей жизни. Будущее внушает страх или надежду. Однако можно испытывать обоснованный страх или питать абсурдную надежду. Куда не дотягивается точное суждение науки, тонкая оценка разума, туда способно проникнуть особое сочетание интуиции и расчета, улавливающее в будущем обещание или угрозу. Должен признаться, что в такого сорта исследованиях лучшим путеводителем по-прежнему остается для меня рефрен поэтов моего Прованса: «Любовь ведет, за ней идет искусство». Не стоит обманываться по поводу сухой абстрактности этой небольшой книги: философия в ней является лишь с тем, чтобы прояснить и закрепить чувство.

Блаженны те, кому дано хладнокровно наблюдать за глубокими переменами вокруг нас. Я не принадлежу к такого рода высшим созерцателям. Спектакль

⁵ Charles-Marie-Photius Maurras, «L'Avenir de l'intelligence», 1905. Перевод с французского А.М. Руткевича.

слишком занятен, слишком богат намеками, даже если любопытство не вызывает у нас энтузиазма. Но мы с вами, друг мой, уже не принадлежим тому прекрасному возрасту, когда взгляд не может оторваться от восхитительных теплых красок. За нами жизнь и опыт, нам ведома слабость человеческой природы. К чувствительности примешивается мысль, она возвращает нас к самим себе. Мы видим утверждение механизма новых нравов, новое распределение энергий, которое стирает прежнюю жизнь средних классов и сами эти классы, чувствуем тот электрический разряд, который вновь делит мир на плебеев и патрициев. Нужно быть тупым консерватором или наивным демократом, чтобы не ощущать тех сил, которые стремятся овладеть Землей. Созданные для наблюдения глаза уже распознавали две древние материальные силы — Золото и Кровь.

Действительно, сегодняшний человек должен был бы чувствовать, что X век ему ближе, чем XVIII. Несколько сотен семей сделались господами планеты. Простодушные могут кричать: «Восстанем и свергнем их!», но они забывают о том, что случилось во Франции 115 лет тому назад и что из этого произошло. Вместо власти князей нашей расы мы получили хлыст менял иной, чем наша, плоти, то есть чужого языка и чужой мысли. Безусловно, это Золото представляет собой Силу, только она не скреплена подписью того, кто силен. Злоупотребляющего своей силой можно убить, Золото ускользает от именованья и от мести. Гибкое и подвижное, оно безлично. В его царстве мы не различаем друга и врага, соотечественника или чужеземца. Без ущерба для себя оно равно служит Парижу, Берлину и Иерусалиму. Это господство, самое абсолютное и самое безответственное, преобладает между тем в странах, которые объявили себя самыми развитыми. В Америке оно уже сказывается на религии, которая в Европе лишь там ускользает от него, где становится под защиту политической власти, опирающейся на Кровь.

Разумеется, этому господству противится католицизм, причем делает это в одиночку: вот почему эту Церковь повсюду преследуют и ограничивают. У нас конкордат привязывает ее к государству⁶, которое, в свою очередь, приковано к Золоту, и наши «вольно-мыслящие» еще не поняли, что последним препятствием для империализма Золота, последним оплотом свободной мысли является как раз Церковь, которую они всячески притесняют! Она представляет собой последний автономный орган чистого духа. В ослаблении католицизма наделенный честностью разум не может не видеть и собственного ослабления: в мире слабеет тот дух, который ранее правил казначеями и королями. К завоеванию вселенной приступила грубая сила.

К счастью, эта порабощающая сила не является единственной: Кровь и Золото ведут борьбу друг с другом. За Разумом остается известное могущество: он избирает, он указывает на наиболее достойного из соперников, он объявляет его победителем. Сохранит ли он эту способность? Пока что идеи сами составляют некую силу. Но что будет лет через 20-30? Если они хотят действовать и воздействовать, то мудрость и предусмотрительность говорят, что действовать нужно быстро. Увы, будущее от них ускользает!

II

Такая постановка проблемы вызвала беспокойство у ряда заинтересованных шарлатанов. Они изображают из себя достойных и свободных личностей, хотя у них удила во рту и упряжь на спине. Свое рабство они отрицают для того, чтобы не пустел карман, да и к революциям они призывают ради прибыли на Капитал. Продажная критика, разоблачающая промышленную

⁶ Упразднение конкордата в конце 1905 года ничуть не ослабило борьбу порабощенного золотом государства против этой неповторимой духовной силы нашего мира (*прим.* 1927 г.).

литературу, дабы самой заниматься ею еще лучше, уже высказала упрек в мой адрес: мол, я приуменьшаю роль писателей и льщу властям. Ответом на всю эту духовную нищету может быть лишь презрение. Указать на существование силы еще не значит ей поддаться. Тот, кто это делает, ищет способ выйти из-под ее влияния, ей рабски покорен тот, кто в лицемерном тщеславии ее отрицает.

Нет ничего более ложного, чем безмерная самоуспокоенность. Ее обещания компенсируются обещаниями варварства и анархии, но большинство тех, кто, вроде бы, противостоит им, являются хорошо оплаченными лжецами, и слушать их нужно лишь для того, чтобы увидеть прямо противоположное. Интеллигенции нужно быстро использовать еще оставшиеся у нее силы! Ей нужно занять позицию! Ей следует сделать выбор между Ростовщиком и Государем, между Финансами и Шпагой! Природа двух вступивших в конфликт сил дает ей — и только ей — сверхчеловеческую способность, феерический дар — творить и предопределять нечто прекрасное и безусловно ценное. В нашей Франции начала XX столетия Интеллигенция может избрать и возвысить не бездушные металл и бумагу, но светлую и теплую живую Силу, которая может быть явлена и именована, которая может длиться и может быть передана, которая отвечает за свои действия и готова под ними подписаться.

Разделяемое до бесконечности золото само способствует непрестанному разделению: перед ним не устоять ни одному отечеству. Я вовсе не игнорирую полезность богатства для индивида. В интересы мыслящего человека вполне может входить обладание изрядным количеством золота, но интересом мысли выступает свободное отечество, которое удерживается лишь наследственной добродетелью Крови. В этом свободном отечестве мысли нужен порядок, который основывается и поддерживается Кровью. Если же мыслящий человек пожертвует теми удобствами и наслаждениями, которые он может купить, ради страстной любви к по-

рядку и к отечеству, то он не только послужит этим двум богам, но будет почитаться среди людей, от которых он получает признание. Почитание этих богов отразится и на тех, кто держит в руках перо. Став гением-спасителем града, Интеллигенция спасется и сама — спасется от падения в ту пропасть, в которую летит наше искусство, теряющее всякое уважение.

Но все должно начаться с интеллектуальной реформы некоторых, небольшого числа избранных, которые должны сказать себе: если чума передается простым заражением, то общественное здоровье сходным путем не вернуть. Прогресс отдельных личностей недостаточен для прогресса нравов. Кроме того, эти немногие, будь они даже самыми мудрыми и могущественными, остаются лишь смертными людьми: их действия, их пример суть моменты в жизни народа; свет на мгновение пробьется и вновь затухнет, если он не сконцентрируется в институтах, которые менее эфемерны, чем те счастливые мгновения их жизни, измеряемые ими мудростью, заслугой, добродетелью. Лучшее в нас длится лишь благодаря бесконечно даящемуся разуму. Человек увековечивается только этим разумом: лучшие его действия продолжаются, консолидируются в бесконечно возобновляющихся привычках тех, кто вступает в жизнь. Прекрасное деяние повторяется, распространяется и тем самым бесконечно возрождается. Если мы хотим избежать индивидуализма, удобного только протестантам, то вопрос о морали вновь становится социальным вопросом: нет нравов без учреждений. Проблема нравов находится в зависимости от другой, политической, проблемы — в сознании лучших политика вновь должна выйти на первый план.

Я понимаю, что одинокое существо, располагающее лишь головой и сердцем, способности которых испытываются с неимоверной быстротой, может утратить мужество и раньше или позже отчаяться. Но раса, но нация представляют собой куда более прочные субстанции! Они располагают неисчерпаемым запасом

мыслей, сердец, тел. Коллективную надежду невозможно укротить, каждая отрезанная ветвь вновь отрастает во всей своей красе. В политике любое отчаяние равнозначно абсолютной глупости.

(1904—1905)

ВЕЛИЧИЕ И УПАДОК

I. Прошлое величие

Для начала уточним: мы говорим об Интеллигенции так, как о ней говорят в Санкт-Петербурге, то есть о ремесле, о профессии, о партии Интеллигенции. Так что речь идет не о том влиянии, которое в любые времена мог обрести интеллект литератора, поэта, оратора, философа. Магия слова, плодотворность жизни и мысли представляют собой такие же силы, как и все прочие; если они значительны или если им послужили обстоятельства, они входят в игру прочих человеческих сил, они дают больше или меньше в зависимости от того, каковы эти силы, какова их судьба. Юрист мог бы говорить о примерах, казуист — о случаях; у нас речь пойдет о роде пишущих людей.

Проникая в любую среду, человек, вроде св. Бернарда, неизбежно окажет на нее воздействие — как говорят в народе, он ее наверняка пометит. Средний по своим способностям ум, не обладающий мощью св. Бернарда, но получающий поддержку от могущественного коллектива, вроде христианской церкви, в любом случае также достигает довольно большого влияния. Но мы исследуем не судьбу отдельных исключительных индивидов, будь они даже теми, кто действует посредством пера, ни судьбу великих моральных и политических коллективов, в которые могут входить пишущие. Речь пойдет об общей судьбе литераторов, об их корпорации и том блеске, которого она достигла своим трудом на протяжении двух последних веков.

Этот блеск бесспорен: все мы благодетельствованы им уже лет двести. Человек, будь он умелым или неумелым, хорошего или плохого происхождения, бедным или богатым, одиночкой или окруженным свитой, принадлежащим какой-либо конгрегации или уроженцем какой-либо местности, о котором говорят, что «он пишет» или что «его читают», которого записали в класс или в стадо «мандаринов», обрел тем самым некое приращение кредита. Он может обладать или не обладать талантом, но двигаться ему стало легче, поскольку перед ним расступаются так, как ранее расступались перед аристократом или перед священником. К нему словно что-то прибавилось. Его опасаются, его почитают, его ценят, его презируют; все эти чувства коренятся в одном — в любовном или ревнивном почтении, испытываемом по отношению к такого рода власти или влияния, которое кажется присущим самой его профессии. У него появился нимб, и если бы для опознания его окружающими ввели некую униформу, то все отдавали бы ему честь.

II. От XVI столетия к столетию XVIII

Историю нашего профессионального восхождения писали уже не единожды. Я бы отметил только его молниеносность. В XVII веке посвящения Корнеля, темные недомолвки Лабрюйера, печальная и ворчливая формула старика Малерба (согласно которой поэт не более полезен государству, чем игрок в кегли) позволяют нам определить положение человека, который возвышался и продвигался исключительно силой своего дарования.

Знание языка той эпохи помогает нам по фразе или по анекдоту делать выводы о том, что это положение было зависимым. При всех случайных отклонениях, каковые обнаруживаются в любой профессиональной карьере, у писателя не было недостатка в известности, достатке, почитании и даже славе в собственном смысле слова: его ранг был значительным, но под-

чиненным. Функцией писательства было украшение мира, литераторы стремились смягчить, утончить, улучшить нравы. Как глас любви, как жало наслаждения, как украшение долгих зим или длительной старости они были интерпретаторами мира, они еще во все не претендовали на то, чтобы миром править, — государственный муж желал от них развлечения, обитатель деревни находил в них свое излюбленное общество.

Возрождение еще признавало более гибкий и менее затвердевший порядок: король Карл IX мог обмениваться с Ронсаром фамильярностями, недопустимыми при Людовике XIV. Но и в XVI, и в XVII веке ораторы, философы, поэты соблюдали естественные приличия: даже если речь шла о написании наилучшей конституции для государства, они почти всегда избегали поисков непосредственного и серьезного ее применения на практике. В их умах проигрывались комбинации, которые они сами ощущали как вымысел, да так их и называли. Политика и теология оставлялись для тех, кто ими занимался по сословному положению. Возьмем пример из самой деликатной в этом смысле области, вопрос религиозного порядка. Ронсар и его друзья могли собираться для того, чтобы совершать возлияния в честь Вакха и Муз, они могли даже сделать вид, будто приносят в жертву козленка, которого украшали при этом лентами и гирляндами. Рассказывая эту историю своей юности, Ронсар говорит о времени, когда еще не было религиозных распрей; поэт ясно указывает на то, что это была забава: надевая на себя сказочный венок из цветов, никто и не помышлял о том, чтобы по-настоящему сделаться язычником, не говоря уже об отказе от Евангелия.

Таковы пределы, таковы действия. Литература предстает как благородное занятие, искусство — как вымысел, посредством которого ум тешится свободной игрой. Воздействие на нравы мыслится как не прямое и отдаленное, как нечто едва уловимое. Писателя и художника оно не может ни тщеславить, ни серьезно за-

трагивать. Они в этом отношении и невежественны, и невинны. Нравиться публике, развлекать и развлекаться — вот единственная их цель. Лафонтен не ведал о том, что его сказки могут разоблачать какое-то зло. Они не слишком хорошо представляют себе и влияние, которое могут оказать на публику. Если ими и намечается какое-то изменение или некая реформа, то чаще всего без их ведома и согласия.

III. Литераторы становятся королями

Как раз противоположное этому — реформа, изменение принятых идей и утвердившихся вкусов — стало целью писателей XVIII века. Их сочинения предопределили государственные революции. Это можно просто констатировать, но нужно видеть, что до того, как обрести подобную власть, писатели уже это намечали, этого хотели, этого домогались. Они недовольны, они приносят в мир список жалоб, план реконструкции.

Но за эти дерзости им, скорее, аплодируют. Доверие к ним возросло, этому помогли гений и скромность их предшественников, их начали упрашивать, чтобы они это доверие укрепили. Затем их стали умолять, чтобы от сооружений фантазии они перешли к реальному разрушению. Известность им приносили живость, остроумие, красноречие критики. До какой степени? Ровно настолько, насколько возросла терпимость. Ею лучше всех пользовался Жан-Жак. Достаточно вспомнить его манеры, его вкусы, все изъяны его личности. Его приняло и лелеяло самое совершенное общество Европы, первый город мира; он вошел в моду, он фигурировал как духовная сила эпохи; зависимый от наших французских нравов народ, несчастный народ Польши, просил его сочинить «конституцию» — список можно было бы продолжить. Говорят, что Карл V поднимал оброненные Тицианом кисти, но пока Тициан рисовал его портрет, он занимался лишь своим ремеслом, каковым владел в совершенстве. Ко-

гда же Руссо писал, он узурпировал атрибуты государя, священника и даже всего народа — но ведь он не был ни подданным короля, ни представителем какой-нибудь другой мощной европейской державы того времени. Политическая и светская элита, моральная элита не просто подбирала перья Жан-Жака, она покрывала поцелуями следы его постыдных деяний и его безумия, коему всячески подражала. Единственной границей для самовластья этого человека были другие литераторы, его собраты и соперники.

Царства Вольтера и Энциклопедии, добавленные к этой популярности Жан-Жака, на 30-40 лет установили настоящую всеобщую диктатуру. Причем письменность правила не как добродетельная или справедливая, но просто как письменность. Она была названа Разумом, хотя этот «разум» не находился в согласии ни с законами физической реальности, ни с логическими законами мышления. Противоречивый, во всем покинувший реальность, он делал неразумными и извращенными даже лучше всего поставленные проблемы. Нам еще придется к этому вернуться, а пока заметим, что абсурдная победа Письменности была полной. Когда исчезла королевская власть, она уступила свое место не «народному суверенитету» (как это обычно говорится): наследником Бурбонов был литератор.

IV. Отречение прежних государей

Стайка лиц, назвавших себя философами, посчитала чем-то духовным и глубоким отрицание влияния на Революцию идей, систем и слов. Они задавались вопросами: как могли чистые и бестелесные идеи стать фактами жизни? Как мечты могли вызвать действия? Хотя нечто подобное мы встречаем чуть ли не ежедневно, они радикально это отвергали.

Однако ни одно из явлений общественной жизни, составляющих ткань современной истории, и не понятно, и не представимо без признания того, что к 1789 году в сердцах возник новый порядок чувств,

воздействующий на практическую жизнь. Многие из тех, кто отвечал за дела, считали свое право предрассудком; они сомневались в справедливости своего руководства, в легитимности того правительства, за которое они отвечали. Жертвоприношение Людовика XVI самым лучшим образом представляет тот упадок, в котором находились все вожди: они начинали окапываться еще до осады, их не нужно было свергать — нужно было дать им упасть самим. Впоследствии отречение Луи-Филиппа и бегство двух его сыновей, Омаля и Жуанвиля (кстати, командовавших армией и флотом), четко показывают то же сомнение в сознании правящих. Эти высшие правители, за которыми стояли наследственность, слава, национальный интерес, вера и действующие законы, отступали почти без сопротивления после первой же стычки. Несколько удачных пушечных или ружейных залпов могли бы спасти порядок и отечество, избавив человечество от несопоставимо больших бед, которые последовали и которые должны были последовать.

162

«*Che coglione!*» — воскликнул молодой Бонапарт 10 августа. Слово это не слишком подходящее: ни Людовик XVI, ни его советники, ни его чиновники, ни Луи-Филипп, ни его сыновья не были «трусами» — в иных ситуациях они выказывали немалую моральную силу. Но в глубинах их психики уже произошла Революция: после того, как они были пронизаны философизмом, правили уже не они сами, но ими правила литература этой эпохи. Подлинным королям, литераторам, достаточно было появиться, чтобы захватить пурпур и заняться его дележкой.

Революционная эпоха была высшей точкой диктатуры литераторов. Когда мы пытаемся охватить одним словом три революционных законодательных собрания, когда мы ищем общий знаменатель для этого собрания деклассированных дворян, бывших военных и бывших каплуцинов, то им оказывается всякий раз слово «литератор». В этой литературе можно найти все признаки упадка, но временно она торжествовала,

правила и управляла. Ни одно правление в истории не было столь литературным. Старые книги из бывших салонов, салонов с их проектами реформ на 1750 год — след идет от них к этим «Декларациям», к текстам законов, списанным со страниц какого-нибудь толстого тома. Руководящими идеями являются идеи философов. Они не появлялись на трибунах лишь потому, что к началу Революции почти все они уже были мертвы. Наряду с учениками умерших нашлось довольно живых, желавших доиграть их роль.

Система нравов и учреждений, которая составлялась ранее частным образом, теперь была с апломбом навязана в общественной жизни. Метод этих философов привел бы к немалому числу искажений и разрушений, даже если бы служил правильным идеям, но в большинстве своем и идеи были неверными. Наши литераторы не стали щадить ни людей, ни вещей. Не стану тратить время на оплакивание тех, кто в результате погиб: они жили, значит, были приговорены к смерти. К несчастью, вместе с ними были сокрушены те учреждения, которые по природе своей были предназначены для куда более долгого будущего.

V. Наполеон

Если посмотреть на Наполеона как законодателя и суверена, то его следовало бы почитать как идеолога. Это — коронованный литератор. Как он тщеславился, говоря: «Руссо и я»⁷, этот «член Института» и продолжатель Революции, а вместе с ней и всех мечтаний лите-

⁷ Станислас де Жирарден писал в своем Журнале: «Прибыв на остров Пеплье, консул остановился перед могилой Жан-Жака и сказал: Для спокойствия Франции было бы лучше, если б этот человек не существовал. — Но почему, гражданин Консул? — спросил я его. — Это он подготовил французскую Революцию. — Но я полагал, гражданин Консул, что не Вам жаловаться на Революцию. — Что ж, — отвечал он, — будущее покажет, что для спокойствия всей земли было бы лучше, если бы ни Руссо, ни меня не существовало».

ратуры XVIII века — их он превращает в декреты, в статьи кодекса законов. Конституция VIII года, Конкордат, бюрократическое администрирование неизменно отображают модные идеи последних лет старого порядка. Но он обладал чудесным здравым смыслом, цену которого нельзя не признать: из всех этих беспочвенных мечтаний Наполеон творил могучую видимость прочной реальности.

Без сомнения, все наши беды проистекают из этой лживой видимости, которая никогда не переставала противоречить глубокой необходимости действительного порядка. Фазы некоторого временного спокойствия не имели иных причин, кроме вполне реального соответствия между административными фикциями и фикциями литературными, которые завладели всеми умами и их совратили. Из встречи двух вымыслов, двух этих литератур — официальной и частной — рождалось шаткое, но сравнительно реальное чувство гармонии или относительного благоприличия.

164

Наши отцы называли это «чувством порядка». Те из нас, кто вслед за Ламартином задавали вопрос: является ли этот порядок порядком? И кто вынужден был ответить на него: нет, считают этого удивительного мечтателя и создателя ложного порядка величайшим поэтом французского романтизма, и добавляют — худшим из государственных мужей национального государства. Они ставят его на двадцать голов выше Жан-Жака и Виктора Гюго, но чуть ли не на две тысячи голов ниже г-на де Пейроне⁸.

Разумеется, Наполеон предстает и с другой стороны: если в области гражданской весь его гений сводился к поэзии, то совсем иным был его военный гений. Как полководец, Наполеон далек от всей этой политической и дипломатической литературы: тут он реалист, тут он держится фактов, тут он национален. Как и генералы 1792 года, он пробуждает и возбужда-

⁸ Министр Людовика XVIII в кабинете г-на де Виллеля (декабрь 1821 года).

ет воинственный дух нации, достигает тех начал, которые образуют французский народ, собирает их, разрушает эту массу на противника. Обнаруживаются новые ресурсы патриотического чувства, которые концентрируются и, пользуясь высшим авторитетом властелина, противостоят идеологии литераторов как неожиданно возникшая система бушующих сил. С этой стороны Наполеон олицетворяет ироничный и жесткий ответ военных XIX века на литературные мечтания XVIII века.

VI. XIX век

Общий характер XIX века: естественное течение его литературы продолжает блуждания предшествующего столетия, но ход военных, экономических и политических событий раз за разом опровергает эти бредни.

Посмотрим, например, на историю европейской действительности после Революции. Революционная литература была склонна растворять нации, дабы сотворить единство человеческого рода, тогда как прямые следствия Революции были повсюду, кроме Франции, — возгорание патриотических чувств и ускоренное образование национальностей. Однако немецкая, английская, итальянская, славянская литература служила (каждая в своей родной среде) этим бурным физическим силам, тогда как французская литература XIX века предпочитала игнорировать этот порыв: в ней царил дух космополитизма и гуманизма. В самой Франции она говорила нечто противоположное происходящему и дома, и за рубежом; она не замечала те факты, которые сама же порождала; войны Империи использовались ею лишь во благо идей Революции. Факты давали ей повод для французского *Risorgimento*, но она их всячески чуралась.

Возьмем другой пример: литераторы XVIII века провозгласили как нечто в высшей степени разумное, справедливое, отвечающее человеческому духу и со-

вести такое законодательство в области труда, согласно которому любой наниматель, будучи свободным, и любой нанятый, будучи не менее свободным, должны выяснять свои интересы один на один как равные, не имея права считаться с себе подобными и объединяться с ними, идет ли речь о рабочих или хозяевах. Этот порядок, конечно, не был наилучшим уже сам по себе (сам по себе он является презренным), но он хотя бы казался возможным и применимым в государстве с промышленностью где-то в 1789 или 1802 году. В ту пору едва появилась средняя промышленность, крупная только наметилась, а очень крупной индустрии не существовало вообще. Новое явление, которое проигнорировал Наполеон, а именно пар, способствовало преобразованиям. Литературное законодательство Революции и Наполеона неизбежно должно было столкнуться с самыми серьезными трудностями. Тогда оно было помехой и опасностью для будущего (либо просто чем-то аморальным), но оно стало непосредственной угрозой, настоящим заговором против внутреннего порядка и мира. Ведь в очень крупной промышленности личность владельца почти повсюду исчезла и была заменена полномочным представителем группы владельцев. Каким бы ни был этот новый глава, в силу новых обстоятельств он обрел такую власть, с которой невозможно всерьез спорить в качестве равного лица, вступающего в договорные отношения. Несчастный рабочий завода теряется среди сотен и тысяч нанятых для того же труда индивидов, а за ними стоят и предлагающие свои руки потенциальные их заменители.

Накопление экономических фактов такого рода ежедневно указывает на абсурдное, невыносимое и хрупкое основание этих легальных фикций. За этими столь серьезными фактами должны были бы последовать иные идеи, другая литература, другой дух, но литераторы сумели понять в революционном движении лишь то, что оно революционное; вместо того чтобы создавать вместе с ним новое, они вмешивались в его творческую работу лишь с тем, чтобы усилить его раз-

рушительный характер. Считая чем-то естественным проистекающий из их дурных законов антагонизм, они старались довести его до крайности и привести к насильственным действиям. Общую позицию литераторов на протяжении XIX века можно обозначить как непрестанное желание анархии и подстрекательство к бунту. Гюго и Беранже придавали французской военной силе ложный смысл либерализма, Жорж Занд фальсифицировала справедливые требования пролетариата.

Так, литературная Интеллигенция извращала или методически оспаривала все то, что было полезным или необходимым. Таково резюме истории прошлого века.

VII. Первые посягательства

Какая из двух находящихся в конфликте сторон, Интеллигенция или Сила, превозмогала на протяжении этого века?

Мы уже не находим здесь влияния, сопоставимого с полной диктатурой предшествующего столетия. Тогда говорилось «король Вольтер», но никто не сказал бы «король Шатобриан» (который только и думал о таком скипетре), либо «король Ламартин», «король Бальзак» (желавшие точно такой же тирании). Не говорилось и «король Гюго», он должен был удовлетвориться титулом «отца», причем кого — поэтов, людей одного с ним ремесла.

Кроме того, правившие Францией после Наполеона суверены разделяли его не слишком доброжелательное отношение к своим братьям по идеологии. Реставрация гордилась тем, что возродила чистую Литературу, которой она покровительствовала; она способствовала духу любопытства и опытного исследования (скажем, молодой Мишле читал курс лекций по истории в Тюильри). Но Правительство уже не воспринимало всерьез треск какого-нибудь недо-Вольтера. Это видно по судьбе Шатобриана — ему предпочли Вилле-

ля, который не был говоруном или сеятелем блестящих образов, зато самым умелым политиком и администратором (наверное, еще и лучшим гражданином своего времени).

При всем почтении к общественному мнению Луи-Филипп выказывал полнейшее равнодушие к тем, кто это мнение создавал. Он их не слишком боялся; он даже неосторожно игнорировал поддержку тех, кто умеет украшать и поэтизировать действительность. Его старший сын был в этом более искусен, и смерть герцога Орлеанского 13 июля 1842 года относится к одному из тех несчастий, которые привели к революции в феврале 1848 г.

Вторая Империя понемногу изменила свое отношение к литераторам, за что и была наказана самим ходом вещей: час ее благополучия отмечен именно преобладанием практиков, вроде Персиньи, Мопя, Сент-Арто, Морни; когда император стал сотрудничать с газетными дипломатами, когда он вместе с ними начал воспламеняться идеями, вроде единства Италии, когда он прислушался к их голосам в пользу Пруссии, начался упадок, появилась угроза его падения. Но стоит отметить, что уже люди, вроде Эмиля Оливье или Гамбетта, выдавали себя за практиков: их оскорбило бы, если бы их записали в одну компанию с Руссо.

При всем различии режимов литераторы могли входить в правительство, но правили они уже не от имени литературы. Их общим стремлением было показать, что они прежде всего люди дела.

Довольно часто у них встречается одна черта, даже более четко выраженная, чем у Бонапарта, — глубокое презрение к их прежнему состоянию, причем с первой минуты их пребывания у власти. К их прошлым собратьям по перу они относятся надменно и даже враждебно. Разумеется, они их пристраивают на разные места — таков круг их отношений, он расширяется только с этой стороны. Они окружают себя персоналом того же, что они сами, происхождения. Но само это происхождение они охотно отрицают, у них нет ника-

кой особой почтительности к тому, что кто-то держал в руках перо, мажущее черным по белому. Они считают себя знающими цену всякой Мысли, хотя признают таковой лишь нечто, напоминающее их собственную. С какой спесью, каким тоном говорит Гизо, сделавшийся председателем Совета министров, с Огюстом Контом! Бывший секретарь редакции, став министром иностранных дел, говорит всем, кто только желает его слушать, что он не придает никакого значения газетам! Какой-нибудь избранный в парламент журналист или писатель тщательно подбирает презрительную интонацию для сокрушения своих бывших собратьев: «Эх вы, теоретики!..»

ЗАТРУДНЕНИЕ

VIII. Прежние привилегированные

С момента своего восхождения новички наверху делают открытие: не все содержится в книгах. Они объявляют благами опыт, знание людей, умение использовать интересы других. Так они обнаруживают старые дистинкции жизни и нравов, превосходство хороших манер, а у женщин — тонкость и суверенную культуру вкуса. Они тут же за это ухватились и стали себя показывать. Прежние привилегированные, в свою очередь, не могли этого не заметить и не понять, что располагают этой силой. Вместе с этим чувством собственной силы у них появилось некое презрение к некогда пугавшим их существам, которых они теперь уже не считали какими-то любопытными зверями.

Я не утверждаю тем самым того, что на протяжении последних 50-60 лет старый французский свет культивировал такое презрение со всей ясностью, которая была бы к тому же равноценна глубокому политическому расчету. Мудрость заключалась в том, чтобы скрыть кривые улыбки и удержаться от столкновений, за которые так часто приходилось дорого платить. Неорганичное состояние общества, нестабиль-

ность правительств позволяли к тому же только подобные волнения чувства. Не было ни политических ориентиров, ни следования традиции. Столкнувшись с парвеню из Интеллигенции, старая Франция старалась просто дать им почувствовать свою цену: она иной раз принимала их в свои ряды, но никак им не поддавалась, как она поддалась в свое время миру Энциклопедии. Эти дикари желали лишь того, чтобы их поскорее приручили, правда, тем самым они сделались куда менее интересными. Они искали именно этого, ей приходилось уклоняться — иной раз к ущербу для нее самой.

Но все же соответствующее характеру расы добродушие еще долгое время определяло установившиеся взаимоотношения между этими двумя сферами. Доступность некоторых древних домов с их верными прежним нравам обитателями создавала атмосферу легкости и непринужденности (в полном смысле этого прекрасного слова). Изысканность и взаимное уважение были основанием учтивости обращения. Простота жизни практически отменяла самое бросающееся в глаза неравенство — неравенство состояний. На место идолопоклонства, с которым к концу старого порядка почитались минимальные интеллектуальные заслуги, пришло куда более человеческое отношение, пригодное прежде всего тонким умам, шокированным былыми крайностями. Человек большого ума, пусть неродовитый и без богатства, издавна мог найти в высших классах нации прием на равных, и всякий француз (рожденный патрицием, даже если вышел из низов) считает такое обращение необходимым, тоскует о нем, даже если оно никоим образом не культивировалось. То, что Поль Бурже назвал жаждой тонких ощущений, удовлетворялось этой игрой счастливых обстоятельств. Романы, пьесы, мемуары двух первых третей этого века свидетельствуют об этом состоянии нравов, которое сделалось чуть ли не историческим в наше время, когда оно едва сохранилось в некоторых провинциях.

IX. Литература кружка или литература революции

Однако Интеллигенция и Сила вещей продолжали развиваться согласно противоположным принципам, и французская интеллигенция XIX века шла своим путем лишившейся трона королевы, все более отдаляясь от побежденной королевы, от высшего общества Франции. С 1830 года, как заметил Сент-Бев, бывшие салоны закрываются. Причем уже навсегда. Литературная Франция либо пребывает в изоляции, либо бунтует. Она мыслила, мечтала, писала не всякий раз поблизости от толпы, но всегда вдали от естественной для нее публики, к которой она теперь была либо равнодушна, либо откровенно враждебна. Романтизм породил литературу, которая принадлежала либо кружку, либо революции.

Действительно, чаще всего романтизм считался лишь с суждением крайне узкого круга посвященных, которые могли вкушать нечто особенное, редкостное, экзотическое, странное. Иностранные влияния, прежде всего немецкие или английские, после Руссо и г-жи де Сталь воздействовали в основном на узкие круги информированных лиц, а не на всю остальную публику. Эти новшества должны были тем более шокировать огромное число читателей, сохранивших верность вкусам своей страны и не желавших принимать ни непристойности, ни уродства. Вот почему с 1825 по 1857 год, то есть от Сент-Бева и Виньи и до Бодлера, и с 1857 по 1895 год, то есть от Бодлера до Гюисманса и Малларме, от мира покупающих и читающих книги откалываются важные подгруппы литераторов, предающихся в тени той культуре, которую они сами, в конце концов, называли нашей истерией.

Я не собираюсь обсуждать достоинства этой литературы, созданной в так называемой «башне из слоновой кости». Она существовала, она вырыла первый ров между некоторыми писателями и элитой читателей. Но уже потому, что она существовала, своими крайностями

ми (зачастую хитроумными, иной раз пикантными, почти всегда чрезвычайно яркими) она вовлекла в свою орбиту большое число писателей, которых читала уже не столь избранная публика. Этих уже не сдерживало то, что они могут шокировать людей со вкусом, ими двигало, скорее, желание не разочаровать небольшой мирок экстравагантных оригиналов.

Заботившаяся более об интеллигентности (именно этим словом тогда пользовались), чем о здравости суждения, критика служила и благоприятствовала этой склонности. Вместо того чтобы поправлять, приближать к лучшим образцам расы и традиции, она способствовала тому, что Готье делался все более Готье, то есть фатально предавался своему пороку, своей мании бесконечных описаний, тому, что Бальзак или Гюго стремились лишь к тому, чтобы писать картины с самих себя, создавая эксцентричные характеры, какими они сами были наделены. Между средней образованной публикой и писателями возник разрыв. Почти все они начинали не с безвестности, но с того, что их объявляли странными и непонятными. Это вряд ли способно вызвать большую симпатию публики. Талант может заинтересовать профессионалов или чрезвычайно небольшое число знатоков. У последних, чувствительных к недостаткам, эти писатели никогда не вызывали большого энтузиазма, а профессионалы не составляют публики, которая слишком занята своими делами, чтобы ими восхищаться или предаваться литературной критике. Такого сорта «артистическая литература» обособляла ее творцов от интеллигенции.

Но там, где она этого не делала, она делала нечто худшее, она вела к бунту. Единственной связью их мысли и мира оказывался бунт против тех сил, которые поддерживали существующий мир. Успех романов г-жи Занд, памфлетов Ламенне, исторических сочинений Ламартина и Мишле, двух главных романов Виктора Гюго, их отклик в сознании публики очевидным образом об этом свидетельствуют. Фактом является то, что эти книги сопровождали политические и социаль-

ные революции, иной раз казались то их оправданием, то их непосредственной причиной. В целом, наши писатели были популярны ровно настолько, насколько они были разрушителями существующего.

Так было далеко не всегда: Ронсар и Малерб, Корнель и Боссюз в свое время защищали государство, короля, отечество, собственность, семью и религию. Романтические литераторы атаковали закон и государство, частную и общественную дисциплину, отечество, семью и собственность; вот чуть ли не единственное условие их успеха — понравиться оппозиции, работать на анархию.

Наличие таланта, которому сопутствует удача, которому аплодируют, казалось, не могло не быть чем-то разрушительным. Отсюда окружающая французские книги тревожная атмосфера. У всякого, кто принадлежит общественной жизни, соприкосновение с этой атмосферой не может не вызвать инстинктивного недоверия и неясной озабоченности. Интеллигенцию стали считать чем-то взрывоопасным, а тот, кто к ней принадлежит, стал казаться истовым врагом порядка. Ее проступки были столь ощутимы и очевидны, что сама мысль о возможных благодеяниях стала отступать. Жизненные интересы заставляли выступать на защиту порядка против дерзостных мечтаний.

Разумеется, страшились лишь пустых мечтаний. Но в этом страхе было столько ненависти, что по малейшему поводу он обращался в неуважение.

Х. Библиотека герцога де Бресе

Литературу ощутимым образом забросили — отчасти как слишком трудную, отчасти как опасную. Жизнь стали проводить не за книгой, предаваясь играм, в которых интеллект не играет особой роли. Дошло до того, что вызвало злую насмешку Анатolia Франса, посвятившего этому страничку своей Современной истории. Библиотека герцогов де Бресе, в которой имелись все великие произведения XVIII века, располагала

лишь десятой частью того, что относилось к началу XIX столетия (Шатобриан, Гизо, Маршанжи...); что же касается книг, вышедших после 1850 года, то «валялись на полках две-три зачитанные брошюры, посвященные Пию IX и светской власти, два-три изодранных романа, панегирик Жанне д'Арк, произнесенный монсеньером Шарло в церкви св. Экзюпера 8 июня 1890 года, и несколько книжек благочестивого содержания для светских дам»⁹.

Нам могут сказать, что причиной было исчезновение иезуитов (из-за закона Фаллу), в прошлом воспитателей молодых герцогов; либо могут расписывать растущую фривольность высших классов; но если не сетовать, а хоть немного подумать, то следует учитывать кружковщину литературы прошлого века или ее революционность.

Хорошее общество большой страны не может сознательно и активно поддерживать смесь анархических восклицаний и темных криптограмм. Хорошее общество создано для любой роскоши, кроме этой. Национальный и традиционный дух был дважды шокирован новыми путями, по которым двинулась интеллигенция. Никому не позволено забывать, что французская литература была в прошлом глубоко консервативной, даже если воспевала фрондерство, проникая в тайный лабиринт человеческого сердца, она способствовала жизни общества.

XI. Материальный прогресс и его последствия

Примерно в то ж самое время интеллигенция нашла своего непримиримого противника в тех силах, которые были приведены в движение новыми открытиями. Это силы материального порядка. Я не знаю, почему наши моралисты так презирают эту материю — из нее ведь все состоит, а их пугает само словосоче-

⁹ А. Франс. Аметистовый перстень //А. Франс. Собр. соч.: в 8 тт. Т. 4.М., 1958, с. 338.

тание «материальный прогресс». Развитие промышленности, торговли, сельского хозяйства под воздействием науки и машин, вызванные ими трансформация экономики, расцвет финансов, рост активности, продолжительности жизни, умножение имущества, и прежде всего движимого имущества, — вот те в высшей степени важные факты, о которых идет речь. Можно их опасаться из-за тех или иных возможных последствий. Но чем больше их изучаешь, тем меньше остается места для обвинений по адресу самих этих явлений или для роста меланхолии в связи с ними.

Хотя бы потому, что они просто смеются над нашими чувствами и суждениями, они от них просто ускользают. Даже если бы мы сумели придать им личное сознание и мораль, то обнаружилось бы, что на них нет вины за те преступления, которые им приписывают. Ответственность лежит не на них, но на том дурном порядке, при котором им суждено было родиться, на тех дефектных законах, которые ими управляли, на тягостном состоянии страны и, прежде всего, — на невыносимой глупости модных идей.

Было бы чудом, если б в смеси с таким числом вредных элементов эти великие явления не вели к самым затруднительным ситуациям. Родившись, они не нашли ни учреждений, ни общественного духа; сохранились разве что нравы. Призванный их направлять политический и духовный орган либо отсутствовал, либо был таким, что всячески сбивал с пути. Отсюда множество пороков, присущих всякой непросветленной силе, которая на ощупь ищет для себя регулирующий механизм. Сила поменьше давно потерялась бы в этих поисках. Поиски этой силы энергично ведутся и ныне, поскольку не существует ни организации труда, ни организации деловой жизни. Но распыленность труда и деловой беспорядок являются свидетельствами лихорадочной активности нашего грозного времени.

Материальный прогресс уже пятьдесят лет создает огромные богатства, он привел к значительному подъему общего потребления, к ускоренному обращению

денег — такому, что без обновления старые капиталы просто исчезают. Повсюду мы видим рост потребностей, которые быстро удовлетворяются — прежде всего в городах, где просто стыдно оставаться вне этого общего движения. Изначальная простота жизни исчезает по всему национальному пространству. Всякий собственник по необходимости пользуется удобными и соблазнительными банковскими кредитами. И это не просто желание насладиться, но заразительная привычка, ход самой жизни. Этот прогресс в смысле изобилия не мог не привести к выдвиганию новых людей, пользующихся всеми благами такой жизни, предающихся отчасти вызывающей роскоши, которая, как и во все времена, была присуща людям такого сорта.

Однако особенностью нашего времени является то, что роскошь уже не сводится к некоему числу излишеств, которыми можно было бы без труда пренебречь, или предметов роскоши в собственном смысле слова. Новая роскошь по сути своей была приростом удобств и разумного обустройства жизни, орудием действия и приращения ценности, приумножения могущества. Сравним, например, сегодняшнего богача с его способностью перемещаться с тем, кто привязан к своему очагу экономией или бедностью: возможность путешествовать проводит сегодня границу между ними в пользу первого, придавая ему неслыханное превосходство!

Можно задаться вопросом, что стало бы с французским хорошим обществом, если бы оно держалось прежних нравов. Но выбор невелик: либо скатиться вниз, либо приспособиться к новым захватывающим обычаям. Чтобы сберечь себя, чтобы сохранить доверие и могущество, оно во многом должно было принять вызывающие манеры выскочек. Выгодный брак, занятие сельским хозяйством и некоторыми отраслями промышленности, иной раз даже удачная биржевая спекуляция — вот средства удовлетворения безмерно разросшихся потребностей. Современный Тюркаре

располагал рядом преимуществ и умело ими пользовался. Так что деньги, которые раньше стирали классовые и социальные различия, теперь стали усиливать давние разграничения или даже проводить новые. Так возникла, в частности, огромная дистанция между французской Интеллигенцией и французской Силой — хоть прошлой, хоть настоящей. Из союза между частью капитала и большинством титулованных семейств старого порядка возникла новая четко отличимая аристократия. Бесплотная по своей природе, неспособная ни владеть материальным, ни управлять им, Интеллигенция входит в эту новую жизнь, в этот новый мир; она может в него влезать, может его посещать, но она начинает чувствовать, что ей в нем нет места.

ХII. Преграда

Такова ситуация: промышленность с ее машинами умножила богатства, которые усложнили материальную жизнь высших классов французского общества. Эта жизнь все более отличается от жизни других классов, различия становятся все более подчеркнутыми. Удовлетворенные потребности создают привычки, порождающие новые потребности. Потребности все более и более дорогостоящие, привычки все более изысканные — все это создает растущие по своему значению преграды. Одни опускаются ниже этой границы, другие над ней возносятся, но индивиды с большей или меньшей скоростью расходятся, социальные дистанции растут, несмотря на все случайные подъемы и падения отдельных личностей. Сегодня, как и во все времена, богатства недостаточно для того, чтобы отнести человека к какому-нибудь классу, но сегодня бедность — более чем когда бы то ни было — способна сделать его деклассированным. Не только потому, что он беден, но и в том случае, если средства у него невелики, если у него вызывает ужас перспектива парази-

тизма или рабства. Интеллектуальные достоинства не принимаются во внимание в определенных кругах.

Не стоит винить в этом ни людей, ни идеи, ни чувства. За это не несут ответственности ни какие-то предрассудки, ни какая-то традиция. Такова жизнь в целом, таков ее ход, что есть отстающие (даже если они прилагают все усилия), есть курьезные чужаки¹⁰. Если он отсутствует в повседневной жизни, то его и считают отсутствующим вообще: сформировавшиеся без его участия нравы вполне могут не принимать во внимание его личность, его силы, его функции. Его игнорируют, а потому и позволяют ему оставаться таким, как он есть. От пренебрежения не так уж далеко до презрения, ибо речь идет лишь об оттенке того же отношения, и переход от одного к другому совершается с такой легкостью, что этот чужак едва успевает его заметить.

Пока жизнь была простой, заслуги Интеллигенции сказывались и на материальном порядке, но с усложнением жизни уже естественная игра сложных сил лишает такого рода заслуги и свободы, и могущества: требуется уже не просто наличие интеллекта, но нечто такое, чем Интеллигенция не располагает.

Встревоженные косыми взглядами и слухами заинтересованные лица в своих кругах иной раз признаются в этом, но открыли они это для себя недавно, по-

¹⁰ Смысл этого разграничения можно проследить по уделу семейных писателей. Сказанное Лабрюйером, быть может, отчасти утратило характер абсолютной истины в короткий период, когда интеллигенция достигла апогея своего могущества, но сегодня это вновь обретает черты несомненной истины: «Свободный и неженатый человек при наличии хоть какого-то ума способен подняться над своей фортуной, войти в светское общество и составить компанию людям самого благородного рождения; это куда труднее семейному — какжется, супружество помещает всякого в его собственное сословие». Если это вновь становится истинным, то не идет ли речь о растущей консолидации сословий? Все на это указывает.

скольку им мешали видеть другие феномены — давние и по видимости противоположные.

ХIII. Литературный промысел

Чтобы лучше разглядеть происходящее, попробуем вернуться примерно на полтора века назад. Предположим, что во второй половине XVIII столетия мир герцогов де Бресе со всеми их клиентами, которым этот мир задавал тон и моды, отвратился от приносимых литературой и философией удовольствий. Такое нерасположение тут же заявило бы о себе как то, что мы сегодня называем кризисом книжного рынка. Заметим, что ничего подобного не происходило вплоть до последнего десятилетия по совершенно иным причинам. Во второй половине XIX века избранные читатели могли отказаться от чтения книг или читать куда меньше, но это никак не сказалось бы на книжном деле. Эти лица образуют лишь незначительный островок в огромной массе читающих.

Эта масса читает, поскольку у нее есть такая потребность, — в первую очередь, из-за того, что новые условия жизни способствовали всеобщей грамотности. Научившись читать, эта масса должна была найти в новой для нее способности нечто большее, чем просто средство удовлетворения непосредственных нужд; ей понадобились книги с «чувствами», развлечения, выводящие ее за пределы тягот труда, мир страстей и игры. Человеческий род всегда принимался играть тем, что появилось как орудие. Эта игра привела к тому, что «читающая публика» вдруг резко и необычайно расширилась. Начальное образование, казарма, бульварная газета оказались достаточно прочными институтами, обеспечивающими наличие и воспроизводство этой новой публики. Вероятно, она еще более расширится. Во всяком случае, пока всемирная цивилизация сохранится в том виде, как мы ее знаем сегодня, чтение или сходное с ним занятие сохранится в качестве одного из ее жизненно важных органов. Можно ус-

ложнить или упростить способы чтения, скажем, посредством усовершенствованной звукозаписи. Но останется главное: с одной стороны, внимающая толпа (не обязательно легковверная или даже верящая) и, с другой стороны, люди, которые призваны обучать, советовать, развлекать.

Перед писателями открылся гигантский рынок сбыта. Еще в первой половине XIX века они поняли, что могут заняться торговлей, возникла литература, которая получила прилагательное «промышленная». Свое перо или свою мысль стали использовать точно так же, как пользуются своим зерном или своим вином, своей медью или своим углем. Жить писательством — таков был ее «единственный девиз», как заметил проницательный Сент-Бев¹¹. Театральная пьеса и роман более всего подходили для столь плодоносящей карьеры, даже поэзия стала источником богатства для Ламартина и Гюго. Ни Александр Дюма, ни Золя, ни Понсон дю Террайль, чьи доходы считались фантастическими, не превосходили здесь двух этих поэтов. Когда подлинную славу стали измерять количеством полученных денег, успех в их получении как бы отразил ложные цвета подобной славы.

¹¹ При всей полемичности тона, статья Сент-Бева о Промышленной литературе была пророческой. Ее можно отыскать во втором томе его Современных портретов. «Промышленная литература существовала во все времена, в особенности, с тех пор, как возникло книгопечатание, имелись и те, кто пишет для того, чтобы жить. Но в целом, и более всего во Франции XVII века с изящными искусствами были связаны идеи свободы и незаинтересованности». При Реставрации еще сохранялись «привычки щедрости и благовидности», «основа деликатных предрассудков», но «затем чисто меркантильная организация стала преобладать, особенно в прессе». Возникла система, вызывающая «болезненные впечатления, а результаты ее и все большее отвращение». Мысль «изказилась», ее выражения «извращены» — вот чувства Сент-Бева на 1839 год.

XIV. Мелкая промышленность

Во всяком случае, эти успехи позволили литератору говорить, что он способен обеспечивать свою независимость. Теоретически это возможно, хотя на практике весьма затруднительно; однако, лстя себе по поводу своего господствующего положения, обретаемого исключительно благодаря личным качествам, литератор обнаружил, что это уж явно невозможно.

В прошлом благосклонность салона, высокого покровителя, могущественного и организованного класса составляли довольно большую моральную силу, которая находила свое выражение в энергичной поддержке и серьезной защите. Что значат в сравнении с этим сто тысяч читателей Жоржа Оне, этой расплывчатой, мимолетной и бесцветной публики? Немного шума, даже если довольно денег.

Посчитаем, однако, эти деньги. Тогда мы увидим, что они не позволяют тому, кто их заработал, выйти в верхние этажи нации и на равных общаться в этой новой сфере. Он всякий раз будет сталкиваться с материальным могуществом, которое просто несопоставимо с тем, чем он располагает. Его доходы могут быть значительными как на его собственный взгляд, так и с точки зрения его собратьев по перу. Но стоящий во главе крупного общества финансист посмотрит на них с чувством жалости.

Не раз отмечалось, что наибольшая прибыль от литературного промысла нашей эпохи досталась Эмилю Золя. Но цифра в два-три миллиона — такова оценка его прибыли — куда ниже средних доходов таких же Золя от сахара, хлопка, железных дорог. Сахарозаводчик или владелец сталелитейного предприятия получили за тот же срок десятки миллионов. Пока мы смотрим на литературу с чисто деловой точки зрения, она представляет собой довольно худое дело, а литераторы предстают как чрезвычайно мелкие фабриканты. Совершенно очевидно, что Золя от колониальных товаров или фармацевтики получили доходы, которые в

десятки и сотни раз превосходят доходы всех Менье и Жероделей от литературы. С той же точки зрения последние обречены на презрение и протекцию первых. Уровень жизни выскочек в промышленности в собственном смысле слова всегда будет неизмеримо превосходить уровень, который может обеспечить худая литературная промышленность.

Посредственность является уделом даже лучших товаров массового спроса. Если писатели этим удовлетворяются, то они с этим и остаются, но тем самым удаляются из того мира, в котором их доходы уже недостаточны; их тут забывают, они утрачивают свой прежний статус. Они теряют его и в том случае, если решают остаться, пусть с незначительными средствами, поскольку тогда они возвращаются к рабству, к паразитизму, к взгляду свысока, короче, ко всему тому, чего они стремились избежать, хвастаясь, что они живут продуктами собственного промысла, причем теперь у них даже не будет почетного статуса бедных родственников, которым помогают, но незваного гостя, которого кормят по глупости или по жалости.

Вот чего опасаются самые независимые, которые пускают в ход все свое умение, всю свою ловкость, лишь бы уцелеть. Достигшему плодовитым пером известности в свете и социального ранга завидуют, но сами эти счастливые выскочки от литературы зачастую мечтают лишь о том, чтобы подогнать свои доходы (а тем самым и свое достоинство) к требованиям той социальной среды, в которой им теперь приходится вращаться. Задача, сравнимая с подкраской черными чернилами выцветшей шляпы — столь же трудоемкая и столь же сложная. Таков продольный разрез жизни богемы.

XV. Социализм

Мне говорят, что социализм все это изменит. Горняк сделается владельцем шахты, а писатель получит в свои руки собственность на орудия производства в его

собственной отрасли промышленности: книготорговец перестанет его эксплуатировать, директор газеты или журнала уже не станет жиреть за счет плодов его труда, каковые ему целиком и достанутся.

Перед лицом мечтаний такого сорта позволю себе и некоторый скептицизм, и известное беспокойство. Скептицизм связан с разделением труда, которое должно сохраниться. Как и во все времена люди активные — покупающие и продающие, распределяющие и подсчитывающие прибыль — немало получают за то, что берутся решать дела людей созерцательных, а потому бедных. Если на социалистической галере останутся места для книготорговцев и директоров изданий, то и поступать они будут так же, как поступали их собратья во все времена: если они справедливы, то справедливо, а зачастую несправедливо (что для них, впрочем, ничуть не менее естественно).

Если же мне заявляют, что уже не будет ни книготорговцев, ни директоров, то у меня возникает указанное выше беспокойство: что же со мною самим тогда станет? Что же, социализм требует, чтобы я торговал моими собственными книгами? Не должен ли я тогда одновременно быть и писателем, и управляющим газетой, и редактором журнала, да еще и — Боже упаси — руководителем типографии? Я с почтением отношусь ко всем этим профессиям, но за собой я не замечаю ни склонности, ни таланта, ни вкуса к такого рода занятиям. Я благодарен тем, кто вместо меня исполняет эти функции и, к счастью, разгружает меня от всего этого своей деятельностью; единственное, чего я требую от них после подписания договоров и улаживания всех счетов, так это наилучшим образом справляться со своими делами и поменьше лезть в мои, чтобы оставить меня наедине с моими мыслями и моим воображением.

Разумеется, этим господам не обойтись без нас, писателей, но что бы мы делали без них? Вся история показывает, что за малыми, пусть чудесными, исключениями существуют два класса людей, которые различ-

ны по своей природе. Не стоит их смешивать. Настоящий писатель, способный добиться материального успеха, всегда в этом отношении будет уступать хорошему владельцу типографии или торговцу бумагой. Социалистический режим ничего в этом не изменит, поскольку это — закон природы: экономические и политические изменения не затрагивают того, что относится к психологии.

Чего ждут социалисты от своей системы? Чуть больше справедливости, чуть больше равенства? Я желаю того же самого. Но и при изобилии справедливости и равенства в жизни государства, и при их недостатке торговец остается торговцем, а поэт — поэтом. Пусть в мечтах поэта торговец отсутствует, но в жизни он предоставит другому тратить время на поиски нужного им обоим злата. Так что социалистическое золото останется в руках социалистического торговца, а у социалистического поэта его будет не так уж много.

184

Так что оставим экономические гипотезы — сердца экономика не меняет, вопреки смелым пророчествам Бенуа Малона. Вернемся к настоящему.

XVI. Литератор

Сделавшись промышленной Силой, Интеллигенция тем самым вступила в контакт и в конкуренцию с Силами того же порядка, которые, однако, далеко ее превосходят и по мощи, и в качестве промысла. Интересы, представляемые и объединяемые Интеллигенцией, можно оценить, в лучшем случае, как несколько миллионов, тогда как интересы ее соседей измеряются десятками и сотнями миллионов. Здесь она не может добиться особых преимуществ, не говоря уж о равенстве.

К благоприятным для нее в этом факторам можно отнести то, что в наши дни ловкий и трудолюбивый писатель не останется без куска хлеба. Как говорится среди рабочих, «занятость обеспечена». Жизнь у него

довольно сносная, и если он не слишком амбициозен, не рвется к наслаждениям и к богатству, если его жадная до ощущений и чувств детская натура, от которой зависят все его каждодневные умственные усилия, достаточно сильна, чтобы противиться искушениям, переносить разочарования и поражения, то он может гордиться тем, что на протяжении всей своей жизни остается собственником своего пера, свободно выражающим собственные мысли.

Такова ситуация на нынешний 1905 год. Со временем она может стать куда более суровой. Пока что она такова: рынок сбыта достаточно велик, чтобы обеспечить его существование, перспективы достаточно широки, чтобы ради пропитания тут же не обращаться ко лжи и интригам. Со стороны нанимателей еще не настало время полной монополии, а нанимаемые еще не создали достаточно сильного профсоюза, который был бы в силах навязать всем свою волю. Опасаться нужно будущего.

ПОРАБОЩЕНИЕ

XVII. Условия независимости

Действительно, другие промышленные Силы не могут удовлетвориться тем, что они побеждают Интеллигенцию огромной массой создаваемого ими богатства, они неизбежно думают о том, как ее использовать. Такова уж природа этих сил, они не могут сблизиться друг с другом без поиска взаимного подчинения и порабощения.

Писателя все время подстерегает некое постоянно повторяющееся требование, принуждающее его к обмену его «свободы слова» на деньги. И писатель откликается на него, он поддается, даже если ограничивается тем, что отягощается какими-то связями, тем, что он склоняет свой вкус, свои мнения перед финансовым могуществом своей газеты, своего журнала, своего издателя. Но и в том случае, когда он приносит в

жертву свое воображение и свое искусство, и тогда, когда он отчуждает частицу своей веры, этот горделиво попиравший мир ногами творец сам простирается у пят мира. Для Денег он просто имеет свою стоймость, и он начинает торговаться, набивать себе цену, предавая ценность того, что в деньгах невыразимо; тем самым он утрачивает смысл своего существования, тайну своего могущества, той силы, которая определима лишь в терминах интеллектуального порядка. Его мысль перестает быть чистым зеркалом мира и вступает в акты простого обмена действиями и страстями, составляющими жизнь толпы. Угрозе подвергается единственная наша свобода — свобода человеческого духа.

Литератор может питать обманчивые надежды: разве его свобода не обеспечивается предлагаемыми ему суммами денег? Разбогатеет, он получит независимость. Он не замечает того, что богатство это — только по названию: в сравнении с его окружением оно всегда будет ощущаться им как милостыня, как нищета. На этом пути он от одного отчуждения пойдет к другому, вплоть до полной продажи самого себя.

Мы находим литературную независимость лишь у двух крайних типов: по одну сторону, крупный сеньор, вознесенный над всеми влияниями высоким рождением или фортуной (Ларошфуко или, скажем, Лавуазье); по другую сторону, мы находим нищего, живущего на черном хлебе и воде, спящего на убогом ложе, — собаку, вроде Диогена, ангела, вроде св. Франциска, — но слишком захваченного своим *unum necessarium*, чтобы вообще замечать недостающие жизненные удобства. По разным причинам и тот, и другой свободны, ибо не знают нужды. Они мыслят ради самой мысли, пишут потому, что им нравится писать, — у них нет иной радости. Лишь для них писательство является призванием, но никак не профессией.

Эти воистину свободные души даже не слишком хорошо понимают смысл таких слов, как «договор», «рынок», «конвенция». То, что книгу можно обменять

на деньги, то, что золото есть некая мера всех вещей, просто не доходит до их сознания. Они раз и навсегда предпочли практической жизни умозрение в самой его совершенной степени.

Такая жизнь прекрасна, да вот встречается она все реже. Хотя бы потому, что нет силы характера — откуда ему взяться у людей, избравших своей профессией торговлю фантазиями? Сильные характеры обнаружатся, скорее, у промышленников, использующих свой талант для добычи богатства. С того момента, как Интеллигенция сделалась капиталом, с того времени, как ее можно с выгодой эксплуатировать, должна была появиться и порода тех людей, главным интересом которых оказывается погоня за барышом.

XVIII. Другой рынок

Найдется немало литераторов, которые тщеславятся именно тем, что продаются. Они кокетливо опровергают наши прогнозы:

«Не станете же вы отрицать важность столь популярной профессии? Разве можно говорить об упадке, когда на нас такой спрос? Конечно, мы стоим куда дороже, чем ныне предлагаемые суммы, но наша нынешняя меновая стоимость уже показывает, сколь замечательно наше будущее».

Эти слова можно перевести следующим образом: «Мы стоим дорого, а потому стоим выше купли-продажи, нас ищут, и мы продаемся только за самую сумасшедшую цену, а потому защищены от подозрения в продажности...»

Позволю себе усомниться в сумасшедшей цене, но сама готовность быть интеллектуальным товаром на экономическом рынке составляет истинную угрозу современной Интеллигенции. Эта опасность делается еще более зримой, если бросить взгляд на спрос, который становится все более ощутимым на другом рынке — рынке политики.

XIX. *Ancilla ploutocratiae*

Действительно, на протяжении сотни лет после Революции получившая почетный титул «публики» масса считает себя во Франции гарантом суверенитета. Публика — король лишь по имени, на деле царствуют те, кто направляет ее мнения. Нам сразу скажут, что эту роль играют оратор и писатель. Повсюду, где получили распространение демократические институты, такие руководители общественного мнения получают некую прибавочную стоимость. До возникновения печатного станка и в небольших по размеру государствах древности ею пользовались чуть ли не исключительно ораторы. С появлением печати, в огромных государствах ораторы делятся этими привилегиями с публицистами. Частное мнение последних делается общественным мнением. Остается узнать, кто же именно высказывает свои частные мнения.

Нам скажут, что во многих случаях такими творцами мнений становятся люди, движимые убеждениями, компетентностью, патриотизмом. Правда, в еще большем числе случаев мы найдем личные амбиции, дух партийности и партийную дисциплину. Наконец, есть еще один мотив — алчность, не столь частый, как о том говорят, но и не столь редкий, как это провозглашают. Во всяком случае, подозрения такого рода всегда возможны, их часто высказывают (или обходятся намеками). Нет того мнения, сколь бы красноречиво и убедительно оно ни звучало, которое не подпадало бы под подозрение — что за ним, прямо или косвенно, стоят деньги. С учетом уже нам известных фактов, те, кто занят розысками новых, все более склонны представлять интеллектуальную силу оратора и писателя как отражение материальных сил. Личную незаинтересованность иной раз даже не принимают в расчет — ведь ее никогда нельзя доказать. Нет никакого сертификата, удостоверяющего свободу и честность Интеллигенции, а тем самым и Мнения, который вернул бы им достоинство цариц мира. Бескорыстие

их сомнительно — вот факт, а потому под вопросом всякий раз оказывается интеллектуальное и моральное достоинство Интеллигенции и Мнения.

От них непрестанно требуют, чтобы они представляли именно в этой прежней своей славе — она нужна органам Промышленности, Торговли, Финансов, содействие которых требуется сегодня в любых общественных делах, в книгоиздательстве и в прессе. Но чем выше номинальное влияние Интеллигенции и Мнения вместе с прогрессом демократии, тем больше они утрачивают подлинный авторитет и истинное уважение. Писатель и публицист все чаще толкуют о том, что мало кому интересно: все их намеки, «тенденциозные» слухи, недостоверные новости. Из любопытства их готовы послушать, не испытывая ни малейшего уважения. Слишком велики подозрения в том, что говорящий не свободен, что через него хотят «воздействовать» по далеко не возвышенным мотивам. Представителя Интеллигенции считают прислугой, да еще и у подлых хозяев. Один внимательный критик середины прошлого века заметил, что голова, кажется, утратила контроль над органами. Сегодня он сказал бы, что голова все более направляется животом и ногами.

XX. Продажность или предательство

Нетерпимый фанатизм сразу приходит к такого рода выводам. Все, что от него ускользает, все, что ему не нравится, он тут же объясняет «дарами персидского царя». Изучение фактов нередко указывает на верность даже этой примитивной формулы, просто ею пользуются где ни попадя. Даже если это объяснение справедливо, оно далеко не всегда является достаточным.

Чтобы это стало понятнее, приведем пару примеров из недавней истории. Очевидно то, что кампании во французской прессе в пользу объединения Италии подкреплялись немалыми вложениями английского золота; но сколь бы характерным ни был этот факт с

точки зрения европейской политической жизни, он просто недостойн того, чтобы на него стоило смотреть в перспективе философии истории. Здесь все ограничивается вопросом: каков был в этом интерес Англии! Все, что нам известно об общественном мнении французской публики с 1852 по 1859 год, равно как о личных предрасположенностях Наполеона III, показывает, что и без английских денег национальное мнение склонялось в пользу «бедной Италии». Семена этого заблуждения были рассеяны в самой атмосфере того времени; будучи однажды поставленной, эта проблема во Франции середины прошлого века и не имела иного решения. Можно даже предположить, что английское министерство финансов занималось растратой денег; правда, они были вложены в самый подходящий момент, были применены в самых подходящих кругах, что помогло имевшимся повсюду чувствам и страстям получить выражение в виде идей. Вероятно, атаки французской кавалерии послужили и тому, чтобы заглушить благородные голоса Вейо и Прудона, считавшихся врагами прогресса. Мнение маршировало само по себе, его нужно было лишь поддержать.

Во время австро-прусской войны оно было куда менее спонтанным. Конечно, у либеральной прессы сохранялись могущественные мотивы для того, чтобы склоняться в пользу Пруссии — протестантской державы, которая, как тогда говорилось, «возрождала принципы Вольтера и Фридриха». Романтический германизм с сочувствием смотрел на происходящее в Берлине. Однако дурной политический расчет был уже виден, сочувствие и восхищение казались избыточными. Некоторые либералы-диссиденты, которых трудно было занести в «визионеры», чувствовали опасность, прямо на нее указывали и с трибун, и в крупных газетах. Тогда и понадобились вливания из рептильных фондов Бисмарка. Пруссия получала мир, пока платила, когда же она сама захотела войны, то субсидии прекратились. Это присутствие многочисленных и влиятельных французских публицистов в бюджете

прусского министерства иностранных дел не подлежит ни малейшему сомнению.

Было ли это абсолютным преступлением? Не будем на этом настаивать, но для того чтобы понять, как от глупости идут к преступлению, вспомним, что представляла собой Пруссия (или чем она казалась) между 1860 и 1870 годом. Сегодня французский публицист, который прикоснется (слово принадлежит одному из них) к посольству Германии или Англии, расценит самого себя как предателя. Но ежемесячная плата в португальском или голландском (или в посольстве Трансвааля, как это было совсем недавно) — будет ли она оцениваться точно так же, да еще с учетом среднего уровня нынешней морали? Ведь получение такой оплаты от русского царя или папы может показаться чем-то богоугодным и патриотичным (я опять-таки говорю это в соответствии с этим средним уровнем). А если это Япония? Стоит ли получать от Японии? В прошлом году это могло стать темой для дискуссий. Пруссия на 1860 год была своего рода Японией или растущей Голландией. Многие получали от нее дары с легкомыслием, бездумно, более по природной алчности, чем из подлости.

Фактом является то, что дары эти принимались; моралист может это прощать или не прощать, политик должен с ужасом констатировать, что алчность частных лиц жесточайшим образом отражается на национальных судьбах. Мы можем сказать: продажность нашей прессы была одной из причин нашего поражения. Иностранец определял французское Мнение с помощью французской Интеллигенции. Если это мнение вообще никак не реагировало до Садовой, если после Садовой оно не предлагало императору какой бы то ни было энергичной политики, то вина за это целиком лежит на движимой деньгами, на купленной Интеллигенции. Она не только не занималась своим делом, то есть не просвещала и не ориентировала темные массы, она их обманывала.

XXI. Разделение ответственности

Можно спросить, насколько Интеллигенция той или иной страны сама способна определять, в чем заключаются ее долг и ее профессиональные обязанности. Можно предаваться декламациям относительно лишенной отечества прессы. Но ведь Отечество должно создавать свою Прессу, а не последняя, будучи просто промышленным предприятием, стремиться встать на службу Отечеству. Да и вообще — Отечество, Пресса — не имеем ли мы тут дело с чистейшей мифологией? Нет Прессы, но есть люди, находящиеся под влиянием печатного слова, а люди эти в своей частной жизни подвижны своими столь же частными и непосредственными интересами.

Многие из таких людей могли договариваться с друзьями Бисмарка, как сегодня они договариваются с посланцами румынского короля или голландской королевы. Легкомыслия, отсутствия политического чутья хватило для того, чтобы чуть ли не без их ведома обратиться против собственной страны. И если мне скажут, что патриотизм должен был бы удерживать их от легкомыслия, пробудить хоть какую-то бдительность, то я могу ответить, что патриотизм далеко не одинаков у разных представителей одного и того же Отечества. Для одних он образует самый центр их физической и моральной жизни, для других — какой-то придаток, нечто едва ощутимое и пробуждающееся лишь во времена страшных общих бедствий.

Патриотический долг не вменить всем и навсегда: нечто подобное встречается только в учебнике, а там мы имеем дело с теорией, а не с живым чувством, не с фактом. Имея дело с этим фактом, мы прикасаемся к чему-то таинственному. Предназначенное к дальнейшей жизни отечество организовано таким образом, что темные фактические нужды немедленно ощущаются соответствующим органом, который способен своими действиями их удовлетворить, — уберите этот орган, и народ погибнет.

Иллюзорность французской политики заключается в вере в добрые чувства, которые могут сохраняться и воспроизводиться сами по себе, да еще постоянно поддерживать государство. Но добрые чувства случайны, они значимы лишь тогда, когда их чувствуют. Если они не проистекают из органов и учреждений, из их животворного источника (который следует тогда охранять любой ценой), то они являются плодами случая, тех или иных счастливых обстоятельств. Таким случаем, такими обстоятельствами можно воспользоваться для того, чтобы создать нечто более прочное. У простых граждан бывают мгновения, когда души у них поистине королевские, а потому они могли творить себе королей. Норманнское вторжение в IX веке, английское в XV веке не имели бы никаких благих последствий, если бы они просто возбудили национальное чувство во Франции; польза от них заключалась в том, что первое вторжение родило династию Капетингов, а второе привело к ее освящению. Поражение Германии в 1806 году привело к подъему национального чувства, но само это чувство ничего бы не дало, не будь двух использовавших его династий — одна с помощью Меттерниха, другая — Бисмарка.

У нас нет недостатка в патриотизме, нам недостает хорошо организованного государства. Настоящее французское государство смогло бы контролировать свою прессу и правильно ее направлять. Нынешнее плебисцитарное государство всегда от нее будет больше или меньше зависеть, оно не способно по—настоящему следить за ней и когда нужно ее умерять. Пресса стала промышленной силой, машиной для заработка денег и их проедания; это — механизм без морали, без отечества и без сердца. Вовлеченные в работу такого механизма люди суть наемные работники, то есть прислуга, либо финансисты, то есть космополиты. Причем слуги эти всегда достаточно ловки, чтобы заглушить голос совести, когда говорит интерес, а финансисты этого голоса просто лишены. Замечено не мною, но г-ном Бержере: «прежние откупщики» отли-

чались в этом отношении от нынешних, поскольку «все эти бесстыдные грабители обирали страну и короля, но они по крайней мере не были в стачке с врагами государства», тогда как их наследники «продают Францию иностранной державе — Капиталу. Ибо в наши дни Капитал — действительно всемогущая держава, и о нем можно сказать то же, что говорили прежде о церкви, которую называли знатной иностранкой среди всех наций»¹².

XXII. За границей

Будучи слепой и безразличной силой, равно способной служить государству и его разрушать, к середине прошлого века национальная Интеллигенция могла пойти против национального Интереса, когда этого захотело иностранное золото.

Однако этого не происходило в странах, где общественное Мнение не располагало безраздельной властью. Называемые королевствами или империями, эти подчиненные наследственной власти военные правительства не давали Деньгам захватить Центральную позицию. В Германии или в Англии Деньги не могут назначать главу государства, поскольку там его создает рождение, а не мнение. Какими бы ни были финансовые влияния в этих странах, имеется узкий и мощный центр, куда они не проникают. Этот центр подчиняется собственному закону, который не сводится к силе Денег, он не достижим для всех перемен мнения — это естественный закон Крови. Коренное отличие именно в происхождении: рожденные таким образом силы действуют параллельно силам Денег, они могут договариваться с ними и вступать с ними в союз, но они способны и сопротивляться. Они сами способны направлять Мнение, поддерживать Интеллигенцию и удерживать ее от искушений Денег.

¹² Т. А. Франс. Ивовый манекен // А. Франс. Собр. соч.: в 8 тт. Т. 4. М., 1958, с. 256.

Попробуем изменить перспективу и посмотреть на нас самих извне, глазами немца или англичанина. Если Франция времен Второй Империи управлялась Мнением, была пассивна перед лицом Денег и давала себя обманывать с их помощью, то Англии и Германии с их правящими династиями и с активной ролью по отношению к Деньгам было вполне уместно к ним обратиться для успеха собственной политики. Они пользовались Деньгами, а не наоборот. Надавив с их помощью на французскую Интеллигенцию, которая, в свою очередь, надавила на общественное мнение, они сделали их авангардом своей дипломатии и военной силы. Пусть авангард был хорошо замаскирован и не вызывал тревоги — тем опаснее было его воздействие.

Но и во внутренней политике Германии и Англии деньги направлялись наследственной властью, а тем самым их воздействие на Мнение было благоприятным. У Бисмарка были свои журналисты, без которых он не сумел бы столь успешно наносить свои удары. Эмская депеша предполагала восторженное участие многочисленной и покорной прессы: вот образцовое использование потребных государству фикций, которые вбрасываются в благоприятный и хорошо просчитанный момент, чтобы последовал взрыв в общественном мнении.

Журналистам-демократам, повторяющим победным тоном слова о неподкупности Мнения, следовало бы поучиться у Бисмарка и понять, как их обманывают.

XXIII. Государство — раб, но тиран

Счастливы современные народы, обладающие политической силой помимо Денег и Мнения! Быть может, вся проблема заключается в том, чтобы найти нечто равнозначное, но во Франции это не так уж просто — причины этого известны.

До того, как наше государство сделалось анонимным коллективом без других владык, кроме Мнения и

Денег, эти два властелина уже заявили о себе под маской Интеллигенции и обрели немалую власть над массой граждан. Две древних силы не были свергнуты новорожденным государством, совсем наоборот. Эти невидимые хозяева были заинтересованы в том, чтобы расширить и удвоить свое владычество, и это им удалось. Чем более государство росло за счет частных лиц, тем больше истинный хозяин этого государства, Деньги, расширял поле своего влияния, пользуясь механизмом централизации: с его помощью они направляли и видоизменяли те многочисленные виды деятельности, которые в силу своего свободного и тонкого характера ускользали от Денег, но никак не ускользали от государства. Например, государство наложило свою руку на религию, стало вмешиваться в порядок назначений и в материальную жизнь церкви, и Деньги, сделавшись истинным владыкой государства, уже могли использовать государственные средства, влиять на министров культа, избавляться от цензурных ограничений и т. п. Религия действительно является первой из тех сил, которые способны противостоять плутократии, в особенности же столь прочно организованная католическая церковь. Превратившись в одно из государственных учреждений, она теряет немалую часть своей независимости: если Деньги сделались властелином государства, то церковь утратила свободу выступать против Денег. Материальная сила бесконтрольно торжествует над своим главным духовным оппонентом.

Если государство справилось с сотнями тысяч священников, монахов и верующих, со всеми этими церковными батальонами, то что для него небольшие конгрегации так называемой свободной и автономной мысли? Число и важность последних к тому же сократились благодаря Университету, который принадлежит государству. С помощью имеющихся у него в распоряжении средств государство создало преграду свободной мысли в области науки, философии, литературы. Наш Университет захватил всю власть в этих об-

ластях. Будь они хорошими или дурными, порождения этого административного вмешательства удушают все прочие, будь они тоже хорошими или дурными. Новая монополия стала служить государству. Своими субвенциями государство руководит или хотя бы надзирает за разными литературными и артистическими объединениями, привязывая их к своему собственному владыке, к Деньгам; точно так же работает еще ряд механизмов, посредством которых происходит публикация, распределение и распространение любой мысли. В конечном счете, поручения, почести, награды позволяют ему давать слово одним и лишать его других, побуждать или удерживать. Вне этого систематического и непрестанного воздействия остаются только оппозиционные политические партии (пусть даже их оппозиционность далеко не всегда заслуживает доверия). Но эти противники немногочисленны или они сами в высшей степени умеренны, почтительны, дипломатичны, это противники, которые боятся повредить себе самим, если дадут власти какой-нибудь весомый повод. Французское государство единообразно и централизованно, его бюрократия добирается до последней школьной парты в самой отдаленной деревне. Такое государство прекрасно вооружено для того, чтобы воспрепятствовать появлению любого серьезного противника не только его самого, но и той плутократии, выражением которой оно является.

Государство-Деньги руководит Интеллигенцией, оно ее холит и лелеет, но оно же надевает на нее намордник. Если оно того хочет, государство мешает видеть политическую истину, если ее все же увидели — высказать, а если все же сумели высказать, то препятствует тому, чтобы ее услышали и распространили. Как стране узнать о собственных нуждах, если знающие их обречены на молчание, на ложь или на изоляцию?

XXIV. Революционный дух и деньги

Мне известен ответ анархистов:

«Нам это известно, мы не раз говорили: свободное Мнение вооружится против Мнения купленного. Интеллигенция вернет себе свое место, она заклеят те Деньги, которым сегодня поддалась. Плутократия еще будет дрожать перед лицом трибунов».

Новая иллюзия, да еще и детская!

Если представители духа не видят иного возмездия Деньгам, кроме проповеди какого-то светского Саванаролы, то деловые люди предвидели его пришествие и о нем позаботились. Они сами участвуют в революционном заговоре. Открывая большинство социалистических и анархистских газет и листков, устанавливая имена тех, кто их финансирует, мы обнаруживаем, что самые ожесточенные тирады против богачей были заказаны плутократией Европы и Америки. На официальную литературу, помеченную марками и печатями государства, то есть подставного лица Денег, отвечает другая литература, которая ничуть не менее официозна, — ею командуют и ее распространяют те же самые Деньги. Они ведут атаку с обеих сторон, а направлена она против того рода богатства, которое более привязано к почве, к той или иной отрасли промышленности, в которой сохранилось нечто личное и национальное, т. е. несводимое к Финансам. Недвижимая собственность, руководители промышленности — вот куда легче замечаемый пролетарской массой враг, нежели невидимые миллионы и миллиарды ценных бумаг. Их владельцы охотно обращают нетерпеливую ярость на производительный капитал, а литераторы им в этом помогают.

Но главное достижение Денег заключается в том, что получающая субвенции революционная Интеллигенция неизбежно оподлевает на этом рынке. Она утрачивает единственный источник своего авторитета, свою честь, а потому все добродетельные ее протесты проваливаются в пустоту.

Пресса сегодня зависит от финансов. Один революционный писатель говорил недавно даже о спасе-

нии независимости человеческой Прессы¹³. Он видит эту опасность: «Финансовые комбинации убили идеи, реклама покончила с критикой». Редактор сделался «наемным работником», «его роль сводится к развлечению читателя, которого он должен благополучно довести до рекламных объявлений на последних страницах». «Убеждениям тут не место, нужно или подчиняться, или выметаться. Большинство пишущих, для которых перо является единственным источником дохода, становятся слугами». Повсюду «шантаж во всех его формах, проданные похвалы или купленное молчание... Издатели договариваются с критиками, скоро то же самое станут делать театры, и драматическая критика падет так же низко, как критика литературная».

Этот писатель не верит в свободу печати, которой нет даже у тех, кто финансирует газеты: «Она иллюзорна даже для них, ведь газета для них есть лишь выгодное дело, а потому они во что бы то ни стало хотят понравиться публике и сохранить подписчиков». Наблюдая в 1839 году то, как промышленная литература убивает критику, Сент-Бев также был скептичен по поводу свободы печати. «Либеральный» закон о свободе печати («закон Мартиньяка») отнес прессу «к области полиции и политики», но при этом «усилил промышленный характер газет».

Этот любопытный прогноз оказался даже более провидческим, чем мысль того, кто его сформулировал. Этим объясняется печальная история компрометации прессы на протяжении прошлого века. Вместе с политической свободой (скорее, на словах, чем в действительности) она обрела экономическое рабство — вот жестокая реальность, убивающая всякую веру в независимость прессы. Это относится и к правым, и к левым. Важному лицу из консервативных кругов как-то сообщили, что кандидат на пост руководителя крупнейшей газеты имеет репутацию педераста, мошенника и шантажиста. Важное лицо лишь пожало

¹³ Поль Брюля в Орор (9 января 1903 г.).

плечами: «Вы же знаете, имея дело с журналистами, не следует быть слишком разборчивым!» Это было сказано свысока совсем не герцогом или пэром Франции, автор этих слов лишь отобразил сложившуюся ситуацию. В прошлом имели значение почет главного редактора, его убеждения; сегодня говорят о его внешности, о платежеспособности, о возможностях получать кредиты. За журналистикой сегодня стоят лишь Деньги, а вместе с ними все те brutальные интересы, которые они выражают. Кажется, настало время, когда человек оказался просто пешкой в руках грубой Силы, — и это в стране, где право силы было ранее всех других стран отменено, где дольше всего господство силы умерялось законом. Теперь это господство раньше всех возвращается у нас, причем в самом неприглядном виде.

XXV. Железный век

200

Жизнь вообще огрубела. Мораль французского литератора на 1905 год зримо отличается от морали литератора 1850 года. Писатель лишился своей репутации. Он готов писать для кого угодно и подписывать все что угодно, не чувствуя ни малейшей ответственности за им написанное и подписанное, но при этом всячески стремится создать впечатление, что не он стал просто органом газеты, а газета есть орган для выражения его мысли. Все это не может не вести к дискредитации, и похвалы по адресу нескольких достойных лиц не отменяют того, что сама профессия журналиста лишилась всякого уважения. Журналисты, поэты, писатели, люди театра образуют небольшой мирок, где все друг друга знают, но отношения в нем напоминают ад. Высшие классы сегодня куда более открыты, чем это было когда-то, они пропускают в свои ряды даже авантюристов и нуворишей, но они совершенно охладели ко всему, что имеет отношение к духу. Но кто станет уважать людей, честность и серьезность которых в высшей степени сомнительны?

Больше, чем все негативные суждения по его поводу, писателя дискредитирует уже само положение его в обществе: внизу он или вверху, писатель предстает как наиболее деклассированный элемент общества. Лучшие среди нас вспоминают о прошлом, о происхождении и высоком ранге нашего ремесла, но у собратьев по перу эти мечты не находят никакого отклика, а светское общество их просто игнорирует. Такого рода ностальгия лишена практического смысла. Ренан как-то заметил по поводу современных женщин, что они не ждут от мужчин «великих деяний, рискованных предприятий, героических трудов», но требуют «богатства для удовлетворения стремлений к вульгарной роскоши». Сегодняшний литератор жаждет именно вульгарной роскоши или столь же вульгарных связей.

От давних предрассудков, благоприятствующих интеллектуалам-мандаринам, еще не избавилась темная масса читающей публики, но сохранять их становится все труднее. Буржуазия, в рядах которой любителей литературы не меньше, чем в кругах аристократии, целиком избавилась от иллюзий и от всякого почтения. Своим пытливым взглядом она видит то, что по улицам Парижа слоняются четыре или пять тысяч актеров и писателей, иные из них умирают от голода. Она расчетливо оценивает то, что безработными являются четверть членов одного профсоюза парижских журналистов и более трети другого. Она предвидит, что две-три тысячи этих несчастных кончат свои дни в богадельне или в палате для буйнопомешанных. Энтузиазм читателей Гюго и Вакери¹⁴ совершенно исчез у нынешних средних классов.

Этот энтузиазм остается внизу, у части той широкой публики, для которой художественная литература и всякое писательство кажутся сверхъестественным и

¹⁴ Огюст Вакери, писатель и журналист (1819—1895). Страстный поклонник Гюго, брат которого, Шарль, был женат на дочери Гюго, Леопольдине.

возвышенным даром судьбы. Используя как инструмент школу, государство пытается сохранить эту ситуацию, поддерживать доверие к Интеллигенции, за которой оно само скрывается (чтобы еще лучше прикрыть власть Денег, от имени которых оно правит). Но результатом этих усилий оказывается деклассированность тех, кому оно продолжает лстить. Обремененное интеллектуальным пролетариатом демократическое государство не может остановить его рост, оно его даже стимулирует. Мест не хватает, но государство продолжает плодить этот пролетариат. Когда государство исполняет свои обещания этому пролетариату, оно испытывает финансовые затруднения, которые грозят революцией. Но если оно перестает их исполнять, то приближает ту же революцию. Плутократия уже приготовилась к ней, она желает так ее направить, чтобы не пострадать самой; но государство за себя боится, и мы уже ощущаем его беспокойство.

XXVI. Поражение интеллигенции

Вряд ли стоит опасаться того, что эти возмущения нарушат фундаментальные интересы и перевернут сверху донизу всю цивилизованную жизнь. Финансы победят, возможно, войдя в союз с лучшими элементами физического труда, с теми, кто образует истинную рабочую аристократию; в этот союз будут допущены и представители древней аристократии, которых он либо несколько принизит, либо чуть возвысит. Кровь и Золото соединятся вновь в пока неизвестной пропорции. Интеллигенции в нем долгое время не будет места: наш превознесенный литературный мир потерпит полный крах перед лицом могущественной олигархии, объединяющей силы материального порядка. Огромный интеллектуальный пролетариат уподобится средневековым нищенствующим клирикам и станет донашивать лохмотья того, что когда-то было нашей литературой и нашим искусством.

Народ окончательно разуверится в интеллигенции, причем произойдет это с необычайной легкостью и быстротой. Народ верил в добродетель интеллигенции лишь на основании слухов, а тем, кто направляет его мнения, будет просто их поменять.

Когда народу говорили, что вот этот слабый, простой и скромный человек творит чудеса своим пером и тем самым обретает бессмертную славу, он никогда не воспринимал сказанное буквально, но строгость тона, каким это говорилось, убеждала его в том, что речь идет о чем-то заслуживающем чуть ли не инстинктивного почтения, а оно принимало у народа оттенок религиозного чувства. Такого рода похвалы стали ему куда понятнее, когда литература, эстетика, философия предстали как доходные профессии, приносящие высокое положение, влияние, богатство. Этот более понятный народу смысл был найден чем-то замечательным — так полагают и доньше. Только нужно дожидаться следствий, того момента, когда какие-нибудь Менье или Жеродель объявят народу, что они выше Виктора Гюго, поскольку еще изобретательнее по части высоких гонораров. Народ не лишен природной щедрости, он вовсе не готов «все оценивать деньгами». Но ему непрестанно повторяют, что именно так и нужно оценивать, а считать он умеет и очень хорошо умеет. Тогда вы увидите, как он станет судить, какую шкалу установит для различения хороших и плохих писателей. Легко представить себе, до какой низости дойдет тогда та публика, которая желает, чтобы ее именовали «литературной аристократией». Алчность в брачном союзе с низкими амбициями породят естественные для подобного альянса плоды.

Литература станет синонимом подлости. Под ней будет подразумеваться развлекательная игра, лишенная и серьезности, и благородства. Очерстневший от жизненной борьбы, уставший от механического труда и физического напряжения человек действия по своему неведению настоящей литературы и искусства станет считать таковыми ту низость, которая дает по-

вод для презрения. Если человек действия добродетелен, то утонченность вкуса и оттенки мысли покажутся ему синонимами разврата. Ради чистоты он станет сторонником грубости и бестактности, отвергнет суверенную деликатность духа и высоких чувств, тонкость логики, прелесть эрудиции. Все это предстанет перед судом тупого морализаторства, и у «добрых людей» найдутся свои Валлесы и Мирабо, загипнотизированные идеей фанатичного разделения на добро и зло без всяких нюансов. Иконоборцы, вроде Толстого, уже дают нам представление об этом мрачном мире, очертания которого уже ощутимо проступают вокруг. Если же человек брутального действия будет к тому же лишен добродетели, то ситуация будет еще хуже: искусство станет служить самым подлым его увлечениям; низкопробная литература последних 30-40 лет с ее безвкусным и бесстрастным приапизмом дает точный образ этого искусства. Тех, кого добродетельный напарник еще не сделал тупицами, этот человек действия обратит в негодяев.

204

Патриции будут заправлять делами, но в мысли будет царить поистине демократическое варварство. Таково будущее распределение времени и обязанностей. Мечтателю, созерцателю место найдется лишь в том случае, если он принесет в жертву свою честь; посты, слава, успех будут компенсировать ремесло шута. В железный век даже бедность и одиночество будут отняты у героя и у святого: либо, скрестив руки, умирать с голоду во время пиршества, либо вместе с собаками подбирать кости с барского стола.

Авантюра

Впрочем...

Мне не хотелось бы завершать несколько затянувшийся анализ, к тому же, как мне кажется, отвечающий действительно положению вещей, розовой сказкой. Однако будущее не предопределено, возможны иные пути исторических событий. Достаточно

предположить, что ясное сознание опасности в сочетании с серьезными актами воли окажут воздействие на французскую Интеллигенцию, которая полтора века причиняла исключительно вред, чтобы она обратилась к спасительной деятельности.

Она жила во внутренней эмиграции, она извращала все, что только можно, она шла за всеми варварами вселенной; предположим, что она попытается вновь обрести порядок и отечество, два естественных для нее божества. Она проповедовала Революцию; предположим, что она начнет учить иному, а именно, общественному благу.

Представим себе, что счастливые проявления этой новой тенденции вернут ей симпатии и уважение — пусть не официальных лиц, пусть не повсюду, но со стороны почтенных и доныне сохранивших могущество сфер. Вообразим, что французская Интеллигенция поняла две истины: во-первых, что она не является и не может быть первенствующей национальной Силой; во-вторых, что подобные мечтания отдадут ее в руки самого жестокого из хозяев, в руки Денег. Если она желает избежать такого господства, она должна заключить союз с каким-то иным материальным началом, с другими Силами, только уже обладающими лицом и именем, ответственностью, которые помогут ей высвободить присущий ей свет, а он послужит средством совместного освобождения от тирании Денег.

Представьте себе прочную и публичную федерацию лучших элементов Интеллигенции и самых древних начал нации: Интеллигенция будет почитать и укреплять наши старые философские и религиозные традиции, она станет служить таким институтам, как церковь и армия, защищать определенные классы, стоять на страже интересов сельского хозяйства, промышленности и даже финансов, которые не стоит путать с Деньгами в собственном смысле слова, когда финансы служат решению настоящих проблем и несут моральную ответственность. Выбор такой партии вернет французской Интеллигенции определенный авто-

ритет. Появятся и материальные ресурсы, которые будут пожертвованы на усилия в этом направлении. Быть может, она когда-нибудь вновь будет украшена золотой короной, как это было во времена Цезаря.

Но эту диктатуру нужно возвращать, а возвращая, уже начинать ее практиковать. Разумеется, не для того, чтобы утвердить какую-нибудь фиктивную и смехотворную империю, но, как и положено истинной Интеллигенции, чтобы увидеть самим и дать увидеть другим, какой политический режим будет наилучшим, чтобы избрана была действительно авторитетная его форма, чтобы ориентировать на нее другие Силы. Если бы подобное удалось, то не так уж важно, какой ранг будет приписан Интеллигенции в естественной иерархии нации, — она будет фатально вознесена на шкале моральных ценностей. Интеллигенция могла бы сказать вместе с Ромео в Раю Вильнева:

e cio gli fece

Romeo, persona umile e peregrina

(«и это сделал Ромео, скромный человек и странник»).

206

Кроме того, присущая ей по самой природе роль советчика также неизбежно приведет к росту ее статуса.

Трудности хорошо известны. Интеллигенции потребуется показать Мнению всю ничтожность его показного могущества и заставить его подписать отречение от своего фиктивного суверенитета; необходим акт здравого смысла от тех, кто его лишен. Но разве трудно найти абсурдные мотивы для осмысленного действия?

Необходимо отвоевать некоторые цитадели Золота и воспользоваться ими против их собственной воли, но и в данном случае надежда не так уж смехотворна: Деньги разделяют, но они сами делимы до бесконечности, и однажды они могут сыграть роль против себя самих.

Нужно собрать воедино мощные органы гласности, чтобы быть услышанными и понятыми вопреки воле и интересам государства, не допускающего роста чего бы то ни было против него; но если у этого государства есть центр, то у него нет головы. Бессвязность и легкомысленность государства поразительны: своей школьной политикой оно сохраняет Интеллигенцию и остатки ее престижа в народе; тем, что оно распространяет веру в разум и науку, оно готовит нам те самые прутья, которыми мы его однажды высечем.

Все эти трудности и множество других, даже более серьезных, уступают главной — как сохранить нашу честь и наше достоинство в приближающемся царстве плутократии. Это уже не трудно, это просто невозможно. Имея перспективу верной гибели, интеллигенция ничем и не рискует; если она любит саму себя, ценит наши последние реликвии, свое влияние и свою свободу, если она видит для себя какое-то будущее и что-то хочет сделать для Франции, она должна действовать хотя бы из отчаяния. Видя на горизонте всепоглощающую тьму, национальная Интеллигенция должна соединиться с теми, кто пытается сделать что-то доброе перед тем, как пойти ко дну. Во имя разума и природы, в согласии с древними законами вселенной, ради спасения порядка, ради выживания и прогресса оказавшейся под угрозой цивилизации все, кто не утратил надежды, собираются на корабль Контрреволюции.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Реальность и сердцевина человека 4

п р о з а

Нелли Цымбаленко. Смех Нины 6

Николай Старообрядцев. Палец 10

м е р т в ы й т е к с т

Раймон Руссель. Locus Solus. Главы I-III 25

Луи Арагон. Тень изобретателя 117

Мишель Лейрис.

Авантюрная жизнь Жан-Артюра Рембо 123

а р х и в

Эмиль Мишель Чоран. Гоголь 126

polaroid

Вадим Климов. Женщины и собаки 131

extremum

Шарль Моррас. Будущее интеллигенции 152

Забавные чаяния читателей...

Полгода назад во ВК завелся нелепый идиот, который одним махом накропал комментарии пять по поводу наших книг Эмиля Мишеля Чорана, что, мол, такие тоненькие книжонки нужно обязательно выпускать в мягкой обложке, а вообще-то негоже делить одну книгу на четыре и издавать ее таким образом.

Это была уже не первая подобная претензия. Вообще-то, выпущенное в начале 2000-х Республикой «Искушение существованием» объединяет чорановские циклы эссе, изданные именно раздельно в разные годы: 1949, 1956, 1960, 1964. С чего вы взяли, что они должны быть вместе?

Скромного интеллектом, но обильного комментатора я отправил в бан, а недавно на Озоне увидел подобного персонажа, который радовался, что нечто вроде АСТ или подобной гадости взялось за Чорана и издало наконец «Злого демиурга».

Вообще-то, эту книгу Симпозиум напечатал еще в 2002-м. Но главное не это: комментатор ликовал, что мерзопакостный мейджор, в отличие от Опустошителя, будет издавать книги, не деля их на четвертинки, а целиком. Трудно сказать, с чего он это взял, но мысль была озвучена.

«Злой демиург» в 2002 году вышел под одной обложкой с «Разладом», «Упражнениями в славословии» и «Записными книжками», что не вызвало у ликующего крети-на никаких вопросов. Все вопросы всегда к отвратительному Опустошителю. А лапочки из АСТ... ну, какие к ним могут быть претензии...

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Пушкинская лавка Земляной Вал, 21/2 стр. 1

Листва Жуковского, 4с1

Книжный в Клубе Покровский бульвар, 6/20с1

Ходасевич Покровка, 6

Фламмеманн Тверская, 23с1

Чехов и Компания Гончарная, 26 к. 1

Пиотровский Малая Никитская, 12, стр.12

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Подписные издания Литейный, 57

Во весь голос Маяковского, 19

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Владивосток **Игра слов** Партизанский проспект, 44к10

Владимир **N1KE7UP** Большая Московская, 22а

Воронеж **[Элефтерия]** Кардашова, 5

Казань **Смена** улица Бурхана Шахиди, 7

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рахпилевская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

opustoshitel.ru, totenburg.org, mybooks.by (Беларусь),
Бартлби и компания, kk-galimatya.ru (Омск),
ozon, wildberries, Яндекс.Маркет, Читай-город, Буквоед.